

Генрик Сенкевич

Огнем и мечом



Трилогия

Генрик Сенкевич

Огнем и мечом

«Public Domain»

1884

Сенкевич Г.

Огнем и мечом / Г. Сенкевич — «Public Domain»,
1884 — (Трилогия)

«Странный был 1647 год. Разные знамения на земле и на небе предвещали какие-то несчастья и необыкновенные события. Современные летописцы упоминают, что весной в Диких Полях появилось невероятное количество саранчи, уничтожившей все посевы и травы, что предвещало нашествие татар. Летом произошло полное солнечное затмение, а вскоре за тем на небе запылала комета. В Варшаве над городом появился в облаках гроб и огненный крест; люди постились и раздавали милостыню, ибо многие утверждали, что в стране будет мор и уничтожит род человеческий. Наконец, настала столь теплая зима, что даже старики не помнили такой. В южных воеводствах совсем не замерзали реки; увеличиваясь от тающего каждое утро снега, они вышли из берегов и затопили их...»

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	13
III	22
IV	32
V	43
VI	53
VII	57
VIII	60
IX	65
X	70
XI	74
XII	83
XIII	87
XIV	90
XV	98
XVI	109
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Генрик Сенкевич

Огнем и мечом

* * *

Часть первая

I

Странный был 1647 год. Разные знамения на земле и на небе предвещали какие-то несчастья и необыкновенные события.

Современные летописцы упоминают, что весной в Диких Полях появилось невероятное количество саранчи, уничтожившей все посевы и травы, что предвещало нашествие татар. Летом произошло полное солнечное затмение, а вскоре за тем на небе запылала комета. В Варшаве над городом появился в облаках гроб и огненный крест; люди постились и раздавали милостыню, ибо многие утверждали, что в стране будет мор и уничтожит род человеческий. Наконец, настала столь теплая зима, что даже старики не помнили такой. В южных воеводствах совсем не замерзали реки; увеличиваясь от тающего каждое утро снега, они вышли из берегов и затопили их. Шли частые дожди. Степь размокла и превратилась в громадную лужу; солнце в полдень пригревало так сильно, что – чудо из чудес – в воеводстве Брацлавском и на Диких Полях степь зазеленела в половине декабря. Пчелиные рои начали гудеть и жужжать на пасеках, в хлевах мычал скот. Когда, казалось, весь порядок в природе совершенно изменился, все на Малой Руси, ожидая необыкновенных событий, спокойно поглядывали на Дикие Поля, откуда скорее всего можно было ожидать опасности.

А на Полях в это время не происходило ничего особенного, никаких битв и стычек, кроме тех, которые случались там обыкновенно и о которых знали только орлы, ястребы, вороны да полевой зверь.

Таковы уж были эти Поля. Последние следы оседлой жизни кончались к югу, недалеко за Чигирином, со стороны Днестра и Днестра близ Умани, а дальше – к лиманам и морю – тянулась все степь и степь в могучих объятиях двух рек. На Днепровской луке, на Низовье, за порогами, кипела еще казацкая жизнь, но в самих Полях еще не жил никто, и только по берегам рек кое-где попадались «полянки», словно острова среди моря. Земля эта, номинально принадлежавшая Речи Посполитой, была пустынна, и Речь Посполитая позволяла татарам пасти на ней свои стада, но так как ее часто обороняли казаки, то пастбище было вместе с тем и полем брани.

Сколько там разыгралось битв, сколько полегло людей – никто не считал, никто не запомнил. Одни орлы, ястребы и вороны видели все, а кто слышал издали шум крыльев и карканье, кто видел стаи птиц, кружащихся над одним местом, тот знал, что там лежат трупы или непогребенные кости... В густой траве охотились на людей, как на волков. Охотился кто хотел. Человек, преследуемый законом, скрывался в дикие степи, вооруженный пастух сторожил свои стада, рыцарь искал там приключений, разбойник – добычи, казак – татарина, татарин – казака. Случалось, что целые толпы пастухов защищали стада от нападения разбойничьих шаек. Эта степь была и пустой, и полной в одно и то же время, тихой и грозной, спокойной и полной засад, дикой не только от Диких Полей, но и от диких душ.

Иногда над степью проносилась большая война. Тогда по ней волнами плыли татарские чамбулы¹, казацкие полки, польские и валашские хоругви; ночью ржание коней вторило завыванию волков, звук котлов и медных труб летел к Овидиеву озеру и к морю, а на Черной дороге и на Кучманской море людей так и разливалось! Границы Речи Посполитой охраняли от Каменца до Днестра станицы и «полянки». И когда на окраинах начиналось брожение, можно было узнать по неисчислимым стаям птиц, вспугнутых татарскими чамбулами и летевших на

¹ Чамбул – отряд вооруженных татар.

север. Но татарин – из-за Черного леса или из-за Днестра с валашской стороны – двигался вслед за птицами и вместе с ними останавливался в южных воеводствах.

Однако эту зиму птицы не тянули с криком к Речи Посполитой. В степи было тише, чем когда-либо. В то время, когда начинается наша повесть, солнце заходило, и красноватые лучи освещали совершенно пустынную местность. На северной границе Диких Полей, над Омельчиком, до самого его устья, самый острый взор не мог бы заметить ни одной живой души, ни малейшего движения в темном, сухом, увядшем бурьяне. Солнце наполовину скрылось за горизонтом. Небо уже потемнело, и степь тоже начинала постепенно темнеть. На левом берегу, на небольшом возвышении, скорее похожем на курган, чем на пригорок, виднелись следы каменного укрепления, которое было когда-то воздвигнуто Теодориком Буцацким и разрушено набегам. От этой развалины падала длинная тень. Вдали сверкали воды широко разлившегося Омельничка, который в этом месте делает поворот к Днепру. Но свет потухал все больше и больше и на земле, и на небе.

С неба неслись только крики журавлей, летевших к морю. Стояла глубокая тишина.

Над пустыней спустилась ночь, а с ней настал час привидений. Рыцари, бодрствующие в станицах, рассказывали, что по ночам на Диких Полях встают тени умерших, погибших внезапной смертью без покаяния, ведут свои хороводы и ни кресты, ни церковь не могут им помешать в этом. Вот почему, когда наступала полночь, в станицах шептали молитвы за умерших. Говорили также, что эти тени всадников, бродя по пустыне, заграждают встречным путь, моля о крестном знамении. Попадались между ними и упыри, которые с воем гнались за людьми. Опытное ухо уже издали различало вой упыря от волчьего. Видели иногда и целые отряды теней, которые настолько приближались к станицам, что стража начинала бить тревогу. Обыкновенно это предвещало большую войну. Встреча с отдельными тенями тоже сулила мало хорошего, но не всегда нужно было толковать это в дурную для себя сторону. Иногда появлялся и живой человек и исчезал, как тень перед путником, вследствие чего его можно было счесть за духа.

Поэтому нет ничего удивительного, что, когда ночь опустилась над Омельничком, близ разрушенной станицы показался дух или человек. Из-за Днестра выплыл месяц, осветил пустыню, верхушки боярышника и бесконечную степную даль. Тогда ниже, в степи, показались еще и другие ночные существа. Набегавшие тучки поминутно затмевали блеск месяца, и эти фигуры то выплывали из тени, то снова скрывались. Иногда они совершенно исчезали, точно тонули в тени. Подвигаясь к возвышению, на котором стоял первый всадник, они тихо подкрадывались, медленно, осторожно и поминутно останавливаясь.

В их движениях было что-то угрожающее, как и в самой степи, такой покойной на вид. От Днестра иногда доносился ветер, жалобно шелестел засохшим бурьяном, который склонился и дрожал точно от страха. Наконец тени исчезли, спрятались в тени развалин. В бледном ночном свете виднелась только одна фигура всадника, стоявшего на возвышении. Наконец этот шелест привлек его внимание. Подъехав к краю пригорка, он стал внимательно всматриваться в степь. Ветер затих, шелест смолк, наступила совершенная тишина. Вдруг раздался пронзительный свист. Послышался смешанный гул голосов: «Алла! Алла! Господи Боже! Спаси! Бей!» Раздался грохот самопалов, красноватый огонь выстрелов прорезал ночную тьму. Топот лошадей смешался с лязгом железа. Какие-то новые всадники точно выросли из-под земли. Словно буря внезапно разразилась над этой зловеющей тихой пустыней. Потом стоны людей стали вторить этим страшным звукам, наконец все утихло, бой закончился.

Очевидно, разыгралась одна из обычных сцен на Диких Полях.

Всадники сгруппировались на возвышении, некоторые сошли с коней, внимательно к чему-то присматриваясь.

Вдруг в темноте раздался чей-то сильный, повелительный голос:

– Эй, зажечь огонь!

Через минуту посыпались искры, а потом ярко вспыхнул сухой валежник и хворост, который едущие через Дикие Поля постоянно возили с собой.

Сейчас же была воткнута в землю палка с горящим факелом, и яркий свет, падая сверху, осветил нескольких людей, склонившихся над какой-то фигурой, неподвижно лежавшей на земле.

Это были солдаты, одетые в придворное красное платье и волчьи шапки. Один из них, сидящий на добром коне, очевидно, предводительствовал остальными. Он слез с коня, подошел к этой неподвижной фигуре и спросил:

- Ну что, вахмистр, жив он или нет?
- Жив, пан наместник, только хрипит: аркан его чуть не задушил.
- Кто он такой?
- Не татарин; кто-нибудь поважнее.
- Ну и слава богу.

Наместник внимательно посмотрел на лежащего человека.

– Что-то на гетмана похож, – сказал он.

– И конь под ним такой, что лучше и у хана не найдется, – ответил вахмистр. – Вот его там держат.

Поручик взглянул, и лицо его прояснилось. Двое рядовых держали великолепного коня, который, прижав уши и раздувая ноздри, смотрел испуганными глазами на своего господина.

- А конь будет наш, пан наместник? – спросил заискивающе вахмистр.
- Что ты, чертов сын, хочешь отнять у христианина коня в степи?
- Ведь это добыча...

Разговор был прерван сильным хрипением задушенного.

- Влить ему горилки в рот, – распорядился наместник, – и снять пояс.
- Разве мы остаемся на ночлег?
- Да. Расседлать коней, запалить костер!

Солдаты живо вскочили. Одни стали растирать и приводить в чувство лежащего человека, другие пошли за камышом, третьи разостлали на земле верблюжьей и медвежьей шкуры для ночлега.

Пан наместник, не заботясь больше о придушенном человеке, снял пояс и растянулся на бурке у огня. Это был еще очень молодой человек, худощавый, смуглый, очень красивый, с орлиным носом. В его глазах была молодецкая удалость и отвага, выражение лица было прямодушное. Густые усы и давно не бритая борода делали его серьезным не по возрасту.

А в это время двое слуг занялись приготовлением ужина. Несколько окороков баранины жарилось на огне; с коней сняли несколько драхов, подстреленных днем, и другую дичь, чтобы чистить. Костер пылал, бросая в степь громадное красное пламя. Придушенный человек начал понемногу приходить в себя.

Несколько времени спустя он уже смотрел налитыми кровью глазами на чужие лица, потом сделал попытку встать. Солдат, который разговаривал с наместником, поднял его под руки; другой подал ему бердыш, на который незнакомец оперся изо всей силы. Лицо его было еще красно, жилы вздуты. Наконец сдавленным голосом он прохрипел:

– Воды.

Ему подали горилки, которую он жадно пил. Горилка, очевидно, помогла ему, потому что, отняв флягу от губ, он спросил чистым голосом:

- В чьих я руках?
- Начальник встал и подошел к нему.
- В руках тех, которые спасли вас.
- Значит, не вы накиннули на меня аркан?

– Наше оружие сабля, а не аркан. Вы оскорбляете добрых солдат подозрением. Вас схватили какие-то негодяи, переряженные татарами. Вы можете их видеть, если вас это интересует: вон они лежат перерезанные, как бараны.

Говоря это, он указал рукой на несколько темнеющих у пригорка трупов.

– Позвольте мне отдохнуть, – сказал незнакомец.

Ему подали войлочное седло. Он сел и задумался. Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, широкоплечий, почти богатырского телосложения и поразительной наружности. Голова его была громадна, лицо загорелое, глаза черные и немного косые, как у татарина, а тонкие усы над узкими губами расширились книзу и спадали двумя широкими кистями. Его мощное лицо выражало отвагу и гордость. В нем было что-то и привлекательное, и отталкивающее, властность гетмана, соединенная с татарской хитростью, добродушие и дикость.

Отдохнув немного на седле, он встал и вместо благодарности пошел осматривать трупы убитых.

– Невежа! – пробормотал наместник.

Незнакомец тем временем внимательно всматривался в каждое лицо, качал головою, как человек, который все понял, потом медленно направился к наместнику, ощупывая на себе пояс, за который, очевидно, хотел заложить руки.

Не понравилась молодому наместнику самоуверенность человека, несколько минут назад спасенного от веревки, и он сказал с презрительной усмешкой:

– Можно подумать, что вы, ваць-пане², ищете среди этих разбойников своих знакомых или читаете молитвы за их души.

Незнакомец с достоинством ответил:

– Вы не совсем ошиблись: не ошиблись, что я искал знакомых; ошиблись, назвав их разбойниками. Это – слуги одного шляхтича, моего соседа.

– Не особенно же вы дружны с вашим соседом.

Какая-то странная усмешка пробежала по тонким губам незнакомца.

– И в этом вы ошиблись, пане, – пробормотал он сквозь зубы. А потом прибавил громче: – Но простите, что я прежде всего не поблагодарил вас за помощь и спасение от неожиданной смерти. Ваше мужество исправило мою неосторожность: я отделился от своих людей. Но моя благодарность во всяком случае равняется оказанной мне услуге.

Он протянул руку наместнику.

Но гордый наместник не тронулся и не торопился подать свою, он только спросил:

– Сначала я хотел бы знать, имею ли я дело со шляхтичем, потому что хотя я несколько в этом не сомневаюсь, но безымянную благодарность мне принимать не годится.

– Я вижу в вас истинно рыцарский дух, и вы правы: я должен был начать мою благодарность, назвав свое имя. Я – Зиновий Абданк, герба Абданк с крестом, шляхтич киевского воеводства и полковник казацкой хоругви князя Доминика Заславского.

– А я – Ян Скшетуский, наместник панцирной хоругви его светлости князя Еремии Вишневецкого.

– Под славным начальством служите, ваць-пане... Примите же теперь мою благодарность и руку.

Наместник больше не колебался. Обыкновенно панцирные воины свысока смотрели на воинов других знамен, но пан Скшетуский был в степи, в Диких Полях, где на это можно было обращать меньше внимания. Впрочем, он имел дело с полковником, в чем убедился, когда его солдаты принесли пояс и саблю пана Абданка и еще с тем подали ему короткую булаву с костяной ручкой, какую обыкновенно употребляли казацкие полковники. Притом одежда пана Абданка была богатая, а изящная речь доказывала быстрый ум и знание света.

² Ваша милость (польск.).

Пан Скшетуский пригласил его ужинать. От костра доходил раздражающий запах жареного мяса. Слуга подал его в миске прямо с жару. Стали есть, а когда подали объемистый бурдюк молдавского вина, разговор завязался быстро.

– Добраться бы благополучно до дому, – сказал Скшетуский.

– Значит, вы возвращаетесь, ваць-пане? Откуда, нельзя ли узнать? – спросил Абданк.

– Издалека, из Крыма.

– А что вы там делали? Ездили с выкупом?

– Нет, пане полковник, я ездил к самому хану.

Абданк насторожил уши:

– Скажите, какое хорошее знакомство! Зачем же вы ездили к хану?

– С письмом от князя Еремии.

– Значит, послом. О чем же князь писал хану?

Наместник пристально взглянул на собеседника:

– Пане полковник! Вы заглядывали в глаза разбойников, которым попались на аркан, – это ваше дело, но, что князь писал хану, это – ни ваше, ни мое дело, а только их обоих.

– Минуту назад, – хитро ответил Абданк, – я удивлялся, что князь послал к хану такого молодого человека, но после вашего ответа я уже не удивляюсь, ибо вижу человека молодого летами, но старого умом и опытностью. Наместник проглотил ловко сказанную лесть, закрутил молодые усы и спросил:

– Теперь вы скажите мне, ваць-пане, что вы делаете здесь, у Омельчика, и как вы очутились один?

– Я не один: людей своих я оставил по дороге, а теперь еду в Кудак, к пану Гродзицкому, коменданту крепости, с письмами великого гетмана.

– Отчего же вы не водой, не в байдаке?

– Таков был приказ, от которого отступить не годится.

– Странно, что гетман отдал такое распоряжение. Здесь, в степи, вы, например, попали в такую переделку, какой бы на воде с вами случиться не могло.

– Степи, государь мой, теперь спокойны, я знаю их давно, а то, что случилось, вызвано людской злобой и ненавистью.

– Кто же это вас так преследует?

– Долго рассказывать, мосци-наместник³. Злой сосед, мосци-наместник, который разорил меня, выживает теперь из поместья, убил моего сына и вот, как видите, угрожает мне из-за угла.

– Разве у вас нет сабли на боку?

Тяжелое лицо Абданка вспыхнуло ненавистью, а глаза загорелись зловещим огнем. Медленно и отчетливо он ответил:

– Есть, и клянусь Богом, я не буду искать другого оружия против своих врагов.

Поручик хотел что-то сказать, как вдруг в степи послышался топот коней. Прибежал солдат, поставленный на страже, с известием, что приближаются какие-то люди.

– Это, вероятно, мои, – сказал Абданк, – которые остались за Тасьмином. Я, не ожидая измены, обещал их тут ждать.

Действительно, через минуту толпа всадников окружила пригорок. Огонь костра осветил головы коней с раздутыми ноздрями, хрипящих от усталости, а над ними склоненные лица всадников, которые, прикрыв рукой глаза, внимательно присматривались к свету.

– Эй, люди, кто вы? – спросил Абданк.

– Рабы божьи! – ответили голоса из темноты.

– Да, это мои молодцы, – повторил Абданк, обращаясь к наместнику. – Идите, идите!

³ Мосци – сударь, уважительное обращение (польск.).

Несколько всадников спешили и подошли к огню.

– А мы торопились, торопились, батько. Що с тобою?

– Была засада. Хведко, изменник, знал место и уже ждал меня тут со своими. Должно быть, выехал много раньше меня. На аркан меня подцепили.

– Спаси бог, спаси бог! А это что за лях⁴ возле тебя?

Говоря это, они грозно смотрели на пана Скшетуского и его товарищей.

– Это добрые друзья, – сказал Абданк. – Слава богу, я цел и жив. Сейчас поедem дальше!

– Слава богу! Мы готовы!

Новоприбывшие грели у огня руки. Ночь была холодная, хотя и ясная. Их было человек сорок, рослых и хорошо вооруженных. Пана Скшетуского удивило, что они вовсе не походили на реестровых казаков, и в особенности что их было так много. Все это казалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман выслал пана Абданка в Кудак, то дал бы ему стражу из реестровых, и кроме того, с какой стати он приказал бы ему идти из Чигирина степью, а не водой? Необходимость переправляться через все реки Диких Полей только замедлила бы поход. Дело было похоже на то, что пан Абданк именно и хотел миновать Кудак.

К тому же и сам пан Абданк очень удивил молодого наместника. Он заметил сразу, что казаки, обычно фамильярные в отношениях со своими полковниками, обращались к этому с необыкновенным почтением, как будто к настоящему гетману. Должно быть, это был властный рыцарь, а пан Скшетуский, хорошо знавший Украину по обе стороны Днепра, о таком знаменитом Абданке ничего не слыхал. Притом в наружности этого человека было что-то особенное: от него исходила какая-то тайная сила, словно жар от пламени, какая-то непреклонная воля, свидетельствующая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не остановится. Такая же воля была и на лице князя Еремии Вишневецкого; но что было природным свойством князя, обладающего громадной властью и влиянием, то поневоле казалось странным в простом человеке неизвестной фамилии, заблудившемся в глухой степи.

Пан Скшетуский долго размышлял. То казалось ему, что это могущественный изгнанник, скрывшийся в Дикие Поля от преследования закона, то – что он глава разбойничьей шайки, но последнее было неправдоподобно. И одежда, и речь этого человека заставляли думать другое. Поэтому наместник не знал, что думать, и решил только быть настороже, а Абданк тем временем приказал подать себе коня.

– Пане наместник, – сказал он, – нам пора. Позвольте же мне еще раз поблагодарить вас за спасение. Дай бог отплатить вам тем же!

– Я не знал, кого спасаю, значит, не заслужил и благодарности.

– Так говорит ваша скромность, равная вашему мужеству. Примите от меня этот перстень.

Наместник нахмурился и, смерив Абданка с ног до головы взглядом, отступил шаг назад, а тот продолжал отеческим тоном:

– Вы взгляните только. Этот перстень отличается особыми свойствами. Еще в молодости, будучи в басурманской неволе, получил я этот перстень от одного пилигрима, возвращающегося из Святой Земли. В этом перстне – земля с гроба Христова. От такого дара отказываться нельзя, хотя бы он шел из рук преступника. Вы – молодой воин; если даже и старик, близкий к могиле, не знает, что может встретить перед его последним часом, то что говорить о юности, перед которой долгий путь, где столько разных преград. Этот перстень обережет вас от зла, охранит вас, когда настанет судный день, а я вам говорю, что день этот уже недалеко от Диких Полей.

Наступила тишина; слышно было только шипение огня и фыркание коней; в далеких тростниках раздавался жалобный вой волков. Вдруг Абданк повторил еще раз, как бы про себя:

⁴ Лях – поляк (укр.).

– День суда идет уже через Дикие Поля, а когда придет – задивится всий свит Божий.

Наместник машинально принял перстень, так он был удивлен словами этого странного человека. А тот засмотрелся в темную степную даль. Потом медленно повернулся и сел на коня. Его молодцы ожидали уже его у подножия пригорка.

– В дорогу, в дорогу!.. Будь здоров, друг-рыцарь! – сказал он наместнику. – Времена теперь такие, что брат брату не верит, потому вы и не знаете, кого спасли; я не сказал вам своей фамилии.

– Значит, вы не Абданк?

– Это мой герб.

– А имя?

– Богдан Зиновий Хмельницкий.

Сказав это, он кивнул головой, съехал с пригорка, а за ним тронулись его люди. Вскоре туман и ночь скрыли их, только ветер доносил слабые отголоски казацкой песни, когда они отъехали дальше:

Ой, визволи, Боже, нас всех, бидних невьльників,
З тяжкой неволи,
З виры басурманской, —
На ясни зори,
На тихи воды,
У край веселий,
У мир хрещений. —
Вислухай, Боже, у просьбах наших,
У несчастних молитвах
Нас, бидних невьльників.

Голоса понемногу стихали и наконец слились с ветром, шумевшим в камыши.

II

Прибыв на следующий день утром в Чигирин, пан Скшетуский остановился в городе, в доме князя Еремии, где должен был пробыть некоторое время, чтобы дать своим людям отдохнуть после долгого путешествия в Крым, которое пришлось совершать сухим путем благодаря страшному разливу Днепра, течение которого было так быстро, что плыть по нему не было возможности. Сам Скшетуский, отдохнув немного, отправился к пану Зацвилюховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, славному солдату, который хотя не состоял на службе у князя, но был его другом и поверенным. Наместник хотел у него выпытать, нет ли каких распоряжений из Лубен. Князь не дал ему никаких особых предписаний: он велел Скшетускому, в случае благоприятного ответа хана, идти не спеша, не утомляя людей и лошадей. Князь обратился к хану с просьбой наказать нескольких татарских мурз, которые произвели самовольно набег на его заднепровские владения и с которыми он, впрочем, и сам строго расправился. Хан действительно дал удовлетворительный ответ, обещал в апреле прислать особого посла, наказать ослушников и, желая снискать расположение такого славного воина, каким был князь, послал ему с Скшетуским великолепного коня и соболя меха. Пан Скшетуский, с честью завершив посольство, которое было доказательством большого расположения князя, очень обрадовался возможности отдохнуть в Чигирине, тем более что его не торопили возвращаться. Старик Зацвилюховский был встревожен тем, что с некоторых пор происходило в Чигирине. Они отправились вместе к Допулу, валаху, содержащему постоянный двор и погребок, который, несмотря на раннее время, был уже полон народа. День был торговый и, кроме того, в Чигирин пригнали скот для обоза коронных войск. Шляхта обыкновенно собиралась на рынке, в так называемом Дэвонецком углу, у Допула. Там были и арендаторы Конецпольских, и Чигиринские власти, и владельцы ближайших поместий, оседлая и ни от кого не зависящая шляхта, служащие экономии, несколько казацких старшин и мелкая шляхта, проживающая на «кондициях»⁵ у богатых или на своих хуторах.

Все они, сидя на скамьях за длинными дубовыми столами, громко разговаривали о бегстве Хмельницкого – величайшем событии в городе. Скшетуский, усевшись с Зацвилюховским отдельно в углу, стал расспрашивать, что за птица – этот Хмельницкий, о котором все говорят.

– А вы разве не знаете? – воскликнул старый солдат. – Он – писарь запорожского войска, владелец Субботова и, – он понизил голос, – мой кум. Мы давно знакомы. Бывали в разных битвах, где он не раз отличался, в особенности под Цецорой. Такого знатока военного дела не найдешь, может быть, во всей Речи Посполитой, Этого вслух говорить нельзя, но это настоящий гетман, человек с огромным влиянием и огромного ума; все казачество слушается его больше, чем кошевых атаманов. Это человек не без достоинств, но надменный, беспокойный, страшный в своей ненависти.

– Почему же он бежал из Чигирина?

– Поссорился со старостой Чаплинским... Да это пустяки. Ссорились они, как и все шляхтичи... Говорят при этом, что он ухаживал за женой старосты, когда-то староста отбил у него любовницу и женился на ней, а тот опять вскружил ей голову, что весьма возможно, женщина ведь всегда легкомысленна. Но это только предлог, под которым скрываются более глубокие причины. Видите ли, ваць, вот в чем дело: в Черкасах живет старик Барабаш, казацкий полковник, наш приятель. Были у него привилегии и какие-то королевские грамоты: говорят, они восстанавливали казаков против шляхты. Но этот добряк держал их у себя, никому не показывая. А Хмельницкий, пригласив Барабаша к себе на пир сюда, в Чигирин, послал к нему в имение своих людей, которые отняли у его жены письма и привилегии, – и бежал с ними.

⁵ На чужих хлебах.

Боюсь, как бы ими не воспользовались для мятежа, вроде остраницкого, ибо, повторяю, это человек страшный и неизвестно, куда он пропал.

– Вот лисица! Как провел меня! – ответил на это пан Скшетуский. – Назвался казацким полковником князя Заславского. Ведь я его встретил сегодня ночью в степи и спас от аркана.

Зацвилюховский схватился за голову.

– Боже, что вы говорите? Не может быть!

– Может, раз было. Он назвался полковником князя Заславского, сказал, что послан в Кудак к пану Гродзицкому от великого гетмана, но я этому не поверил, так как он ехал не водой, а крался через степь.

– Это человек хитрый, как Улисс! Где же вы его встретили?

– Над Омельничком, по правой стороне Днепра.

– Должно быть, ехал в Сечь.

– Он хотел обойти Кудак. Теперь понимаю.

– С ним было много людей?

– Около сорока человек. Но они приехали слишком поздно. Если бы не мои люди, слуги старосты задушили бы его.

– Он так говорил.

– Откуда же староста мог знать, где его искать, если здесь, в городе, все теряют головы, не зная, куда он пропал?

– Этого я тоже не знаю. Может быть, Хмельницкий солгал, выдав обыкновенных разбойников за слуг старосты, чтобы тем сильнее подтвердить свою обиду.

– Не может этого быть. Вот странно! А вы знаете, что есть гетманский приказ поймать Хмельницкого и *in fundo*⁶ задержать.

Наместник не успел ответить, так как в это время в комнату со страшным шумом вошел какой-то шляхтич, хлопнул дверью раз, другой и, гордо взглянув на сидевших, крикнул:

– Бью челом вашим милостям!

Это был человек лет сорока, маленького роста, с вызывающим лицом, выражение которого еще сильнее подчеркивалось живыми глазами навывкате. Очевидно, очень живой, вспыльчивый, раздражительный человек.

– Бью челом вашим милостям! – повторил он громко и резко, когда ему не ответили сразу.

– Челом, челом! – отозвалось несколько голосов.

Это был пан Чаплинский, Чигиринский подстароста, поверенный молодого хорунжего Конецпольского.

В Чигирине его не любили за то, что он был задира, ябедник, однако с ним все же считались.

Он, как и все, уважал только одного Зацвилюховского за его храбрость, заслуги и мужество. Завидев его, он тотчас подошел и, поклонившись довольно гордо Скшетускому, присел к ним со своей кружкой меда.

– Мосци-староста, – спросил Зацвилюховский, – не знаете ли, что с Хмельницким?

– Повешен, мосци-хорунжий, не будь я Чаплинский, повешен, а если еще не висит, то будет висеть теперь, после издания гетманского приказа, пусть он только попадется в мои руки! Говоря это, он так ударил кулаком по столу, что вино расплескалось.

– Не проливайте, ваць-пане, вина! – сказал пан Скшетуский.

Зацвилюховский прервал:

– А как вы его достанете? Ведь он скрылся неизвестно куда.

– Неизвестно? Я знаю, не будь я Чаплинский!

⁶ На месте (*лат.*).

– Вы, ваша милость пан хорунжий, знаете Хведко. Этот Хведко служит и ему, и мне. Он будет для Хмельницкого Иудой. Долго рассказывать. Хведко сговорился с молодцами Хмельницкого. Он ловкий человек. Знает каждый его шаг. Обещал достать мне его живым или мертвым и выехал впереди Хмельницкого, зная, где его ждать. А, проклятый?!

И он опять ударил по столу.

– Не проливайте, ваць-пане, вина! – повторил с ударением пан Скшетуский, почувствовавший к этому подстаросте странное отвращение с первого взгляда.

Шляхтич покраснел, сверкнул своими выпуклыми глазами, поняв, что его хотят задеть, и посмотрел вызывающе на Скшетуского. Но, увидев на нем мундир одного из полков Вишневецкого, он присмирел, потому что хорунжий Конецпольский был в это время в ссоре с князем, но Лубны были слишком близки от Чигирина и отнестись неуважительно к офицеру князя было бы рискованно. Князь и людей себе выбирал таких, что каждый невольно должен был призадуматься, прежде чем затеять с одним из них ссору.

– Так это Хведко обязался доставить вам Хмельницкого? – спросил пан Зацвилюховский.

– Хведко и доставит, не будь я Чаплинский!

– А я вам говорю, что не доставит: Хмельницкий избежал засады и пошел на Сечь, о чем сегодня же нужно уведомить пана Краковского. С Хмельницким шутки плохи. Короче говоря, у него и ума больше, и рука тяжелее, и счастья большее, чем у ваць-пана! Вы чересчур горячи! Хмельницкий уехал, повторяю я вам, а если вы мне не верите, так это вам повторит вот этот кавалер, который его видел вчера в степи неведомым.

– Не может быть, не может быть! – кричал Чаплинский, дергая себя за волосы.

– Скажу вам больше, – прибавил Зацвилюховский, – этот рыцарь сам спас его от смерти и перебил ваших слуг, что, впрочем, не будет поставлено ему в вину, несмотря на гетманские письма, так как он возвращается из Крыма, ничего не знал о приказе гетмана и, видя человека, на которого напали в степи разбойники, пришел к нему на помощь. О спасении Хмельницкого я, ваць-пане, и предупреждаю, ибо он со своими запорожцами может навестить вас в вашем имении, чему вы, конечно, не очень обрадуетесь. Довольно вы с ним грызлись!

Зацвилюховский также не любил Чаплинского.

Чаплинский вскочил с места, потеряв от злобы способность говорить. Его лицо совсем побагровело, глаза вылезли на лоб. Остановившись перед Скшетуским, он закричал прерывающимся голосом:

– Как?! Ваць-пан, противу гетманских приказов... Да я вас... я вас!.. Пан Скшетуский даже не встал со скамьи, опершись на локоть, он только смотрел на дрожавшего Чаплинского, как ястреб на связанного воробья.

– Что вы, ваць, пристали ко мне, как репей к песьему хвосту? – спросил он.

– Я вас с собой в город... Вы противу приказов... Я вас с казаками...

Он кричал так, что в комнате стало тише. Все повернули головы в сторону Чаплинского. Он всегда искал случая поссориться (такова уж была его натура, что он задирал всех), но всех удивило то, что он затеял ссору при Зацвилюховском, которого он боялся, да еще с офицером Вишневецкого.

– Замолчите-ка, ваша милость! – сказал старый хорунжий. – Этот кавалер – мой гость.

– Я вас... Я вас... в город... на дыбу! – продолжал кричать Чаплинский, не обращая уже ни на что внимания.

Теперь пан Скшетуский тоже встал во весь рост, но, не вынимая из ножен своей низко опущенной сабли, схватил ее посередине и поднял кверху так, что рукоятка с крестом пришлась как раз у носа Чаплинского.

– Не угодно ли понюхать? – холодно спросил он.

– Бей, кто в Бога верует!.. Эй, люди! – крикнул Чаплинский, хватаясь за рукоятку сабли.

Но он не успел ее обнажить. Молодой наместник повернул его, схватил одной рукой за шиворот, другой за шаровары пониже поясницы, поднял его кверху и понес между скамьями к дверям.

– Панове-братья, место для рогоносца, не то забодает!

С этими словами он подошел к двери, ударил в нее Чаплинским, открыл и выбросил подстаросту на улицу.

Потом спокойно уселся на старом месте, около Зацвилюховского.

В избе на минуту воцарилась тишина. Сила, проявленная Скшетуским, внушила к нему уважение шляхты. Потом раздался взрыв всеобщего хохота.

– Виват вишневецкие офицеры! – кричали одни.

– Он в обмороке... весь в крови! – кричали другие, заглядывая за дверь, чтобы узнать, что теперь сделает Чаплинский.

– Слуги его поднимают.

Лишь небольшая горсть сторонников подстаросты молчала и, не решаясь вступить за него, поглядывала хмуро на наместника.

– Правду говоря, пристаёт он, как муха! – сказал Зацвилюховский.

– Какая муха – комар, – сказал, подходя, толстый шляхтич с бельмом на одном глазу и со шрамом величиной в талер на лбу. – Комар, а не муха! Позвольте вам, ваць-пане, засвидетельствовать готовность к услугам! – сказал он, обращаясь к Скшетускому. – Ян Заглоба, герба Вчеле, что может узнать каждый хотя бы по той дыре, которую мне пробила во лбу⁷ разбойничья пуля, когда я по обету шел в Святую Землю отмаливать грехи своей юности.

– Будет вам! – сказал Зацвилюховский. – Вы когда-то сами говорили, что вам прошибли лоб в Радоме пивной кружкой.

– Разбойничьей пулей, умереть на этом месте! В Радоме было другое!

– Может быть, вы и дали обет идти в Святую Землю, но что не были в ней, это верно.

– Не был, ибо еще в Галате сподобился принять мученический венец! Если лгу, то я собака, а не шляхтич!

– Врете и врете!

– Будь я шельмой, если вру!.. Ваше здоровье, пан наместник!

Тем временем подходили и другие знакомиться с паном Скшетуским и свидетельствовать ему свое почтение, – все не любили Чаплинского и радовались его посрамлению. Странная и до сих пор непонятная вещь, что вся шляхта в окрестностях Чигирина, все мелкие землевладельцы, арендаторы, даже люди, служившие у Конецпольских, все, зная по соседству о распрях Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего. У Хмельницкого была слава знаменитого воина, оказавшего немалые услуги в разных войнах. Знали также, что сам король сносился с ним и высоко ценил его мнения, на все происшествие смотрели только как на обычную ссору шляхтича с шляхтичем, каких были тысячи, особенно на окраине. И все становились на сторону того, кто сумел приобрести больше расположения, и никто не предвидел, какие страшные последствия это будет иметь. Только позднее вспыхнула ненависть к Хмельницкому в сердцах шляхты и духовенства обоих исповеданий.

К пану Скшетускому подходили с квартами, говорили:

– Пейте, пане брат! Выпейте и со мной.

– Да здравствуют солдаты Вишневецкого!

– Такой молодой, а уж поручик у князя!

– Виват князь Еремия, гетман над гетманами!

– С князем Еремией пойдем на край света!

– На турок и татар!

⁷ Игра слов: «Wezele» – герб Заглобы; w scele – во лбу. – *Примеч. перев.*

– В Стамбул!

– Да здравствует всемилостивейший король наш Владислав IV!

Громче всех кричал пан Заглоба, который мог перепить и перекрычать целый полк.

– Мосци-панове! – орал он так, что стекла в окнах дрожали, – я уже вызвал султана в суд за насилие, которому я подвергся в Галате.

– Не мелите вы вздор! Язык распухнет!

– Как это, мосци-панове? «*Quatuor articuli iudicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata, alienis aedibus illata*»⁸. А разве это не было *vis armata*⁹?

– Крикливый же тетерев – ваша милость!

– Пойду хоть в трибунал!

– Да перестаньте же, ваша милость!

– И приговора добьюсь, и бесчестным его объявлю, а потом война, но уже с обещанным... Ваше здоровье!

Некоторые смеялись, смеялся и пан Скшетуский, у него уже слегка шумело в голове, а шляхтич продолжал токовать, словно тетерев, который упивается собственным голосом. К счастью, красноречие его было прервано другим шляхтичем, который, подойдя к нему, дернул его за рукав и проговорил с певучим литовским акцентом:

– Познакомьте же и меня, ваць-пан мосци-Заглоба, с паном наместником Скшетуским.

– С удовольствием, с удовольствием. Мосци-наместник, это – пан По-всинога.

– Подбипента! – поправил шляхтич.

– Все равно! Герба «Сорвиголову»!

– «Сорвикапюшон», – поправил шляхтич.

– Все равно. Из Песьих Кишок.

– Из Мышиных Кишок, – поправил шляхтич.

– Все равно. Я не знаю, что бы предпочел: мышинные или песьи кишки. Верно одно, что ни в тех, ни в других жить бы я не хотел... Ведь там и поместиться трудно, и выйти неприлично! Мосци-пане, – продолжал он, обращаясь к Скшетускому и указывая на литвина, – вот уже целую неделю я пью на счет этого шляхтича, у которого меч за поясом так же тяжел, как кошелек, а кошелек так же тяжел, как его остроты. Но если я когда-нибудь пил за деньги большого чудака, то я позволяю назвать себя таким же дурнем, как тот, что меня угощает!

– Вот отделал! – смеялась шляхта.

Но литвин не рассердился, махнул рукой, ласково улыбнулся и сказал:

– Ну, будет, – слушать гадко!

Пан Скшетуский с любопытством разглядывал эту новую фигуру, которая вполне заслуживала названия чудака. Прежде всего – это был человек столь высокого роста, что он почти касался головой потолка, а необычайная худоба делала его еще выше. Его широкие плечи и жилистая шея говорили о необыкновенной силе, но весь он был – кожа да кости. Живот у него ввалился, как у голодающего. Впрочем, одет он был как человек зажиточный: в серую куртку из свебодинского сукна с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, которые начали на Литве входить в употребление. Широкий, туго набитый лосиный пояс, которому не на чем было держаться, спадал на бедра, а к поясу был подвязан меч крестоносца, такой длинный, что приходился почти под мышки даже этому великану.

Но кто испугался бы меча, тот тотчас бы успокоился, взглянув на лицо его обладателя. Это было худое лицо, с опущенными книзу бровями и нависшими светло-льняными усами, – доброе, простодушное, как у ребенка. Эта обвислость усов и бровей придавала лицу озабоченное, печальное и вместе с тем смешное выражение. Он похож был на человека, над которым

⁸ Четыре статьи полевого суда: изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силой на чужой дом (*лат.*).

⁹ Вооруженной силой (*лат.*).

люди издеваются, но пану Скшетускому он понравился с первого взгляда за это простодушное выражение лица и прекрасную солдатскую выправку.

– Пан наместник, – сказал шляхтич, – ваша милость, значит, от пана князя Вишневецкого?

– Так!

Литвин молитвенно сложил руки и поднял глаза к небу.

– Ах, какой это великий воин, какой рыцарь, какой вождь!

– Дай бог Речи Посполитой таких как можно больше!

– И верно, верно! Нельзя ли мне поступить под его знамя?

– Он будет рад вашей милости!

Тут в разговор вмешался пан Заглоба:

– У князя будет тогда два вертела для кухни, один – вы, другой – ваш меч... Или нет, он наймет вас палачом и велит вешать на вас разбойников или будет вами сукно мерить. Тьфу, как вам не стыдно, вы, человек и католик, а длинны, как змей, или как басурманский лук.

– Слушать гадко! – сказал литвин терпеливо.

– Как величать вас прикажете? – спросил пан Скшетуский. – Пан Заглоба так перебивал вас, когда вы говорили, что я, извините, ничего не понял.

– Подбипента!

– Повсинога!

– Герба «Сорвикапюшон» из Мышиных Кишек.

– Вот потеха! Я пью его вино, но назовите меня дураком, если это не басурманские имена.

– Давно вы из Литвы? – спрашивал наместник.

– Вот уже две недели в Чигирине. Узнав от пана Зацвилюховского, что ваша милость будет здесь проезжать, я ждал, чтобы под вашим покровительством предложить князю свои услуги.

– Скажите мне, ваша милость, зачем это вы носите под мышкой такой меч палача?

– Не палача, пан наместник, такие мечи крестоносцы носили! Ношу его, потому что он добыт в бою и давно уж в нашем роду. Еще под Хойницами он был в литовских руках, вот я его и ношу.

– Но ведь эта махина, должно быть, страшно тяжела! Разве для обеих рук?

– Можно обеими, можно и одной.

– Покажите-ка!

Литвин обнажил меч и подал его, но рука Скшетуского сразу опустилась. Ни замахнуть, ни ударить свободно! Попробовал было обеими руками, но и это было тяжело. Пан Скшетуский немного смутился и обратился к присутствующим:

– Ну, мосци-панове, кто сделает крест?

– Мы уж пробовали, – ответило несколько голосов. – Один пан комиссар Зацвилюховский поднимает, но креста и он не делает.

– Ну а ваць-пан? – спросил пан Скшетуский у литвина.

Шляхтич поднял меч, как тросточку, и взмахнул им несколько раз в воздухе с необычайной легкостью: в комнате засвистело и по лицам прошел ветер.

– А, пусть вам Бог помогает! – воскликнул пан Скшетуский. – Вы наверное попадете на службу к князю!

– Видит бог, что жажду этой службы; там мой меч не заржавеет.

– Зато остроумие – окончательно, – прибавил пан Заглоба, – с ним вы не умеете так обращаться.

Зацвилюховский встал и собирался уже уходить вместе с наместником, как вдруг на пороге комнаты показался седой как лунь старик и, увидя Зацвилюховского, сказал:

– Мосци хорунжий-комиссар, а я к вам нарочно. Это был Барабаш, черкасский полковник.

– Ну так пойдёмте ко мне на квартиру! Тут столько народу, что света не видно.

Оба вышли; с ними и Скшетуский. Сейчас же за порогом Барабаш спросил:

– Нет ли вестей о Хмельницком?

– Есть. Бежал в Сечь. Вот этот офицер встретил его вчера в степи.

– Значит, он поехал не водой? Я отправил гонца в Кудак, чтоб его поймали, но, если это верно, – значит, напрасно.

Барабаш закрыл глаза руками, повторяя:

– О, спаси Христос, спаси Христос!

– Чего вы беспокоитесь, ваць-пане?

– А вы знаете, ваша милость, что он у меня похитил обманом? Знаете, что будет, если обнародовать в Сечи эти документы? Спаси Христос! Если король не объявит войны с басурманами, – это искра в порох...

– Вы предсказываете мятеж?

– Не предсказываю, а вижу. Хмельницкий почище Наливайки и Лободы.

– А кто пойдёт за ним?

– Кто? Запорожцы, реестровые, горожане, чернь, хуторяне и вот эти!

Тут пан Барабаш указал на рынок и толпившихся на нем людей. Весь рынок был переполнен большими серыми быками, которых гнали в Корсунь для войска; быков сопровождали целые полчища пастухов, так называемых чабанов, которые всю свою жизнь провели в степях, в пустыне, – людей совершенно диких, не признающих никакой религии, *religionis nullius*¹⁰, как говорил воевода Кисель. Между ними можно было заметить людей, скорее походивших на разбойников, чем на мирных пастухов, – диких, страшных, покрытых лохмотьями разной одежды. Большая часть была одета в бараньи тулупы или в невыделанные овчины шерстью наружу, открывавшие даже зимою голую грудь, закаленную степными ветрами. Каждый был вооружен, но самым разнообразным оружием: у одних за плечами висели луки, у других самопалы, или так называемые казацкие «пищали», у третьих татарские сабли, косы, а то и просто дубины с привязанной на конце конской челюстью. Среди них сновали не менее дикие, хотя и лучше вооруженные низовцы, везущие на продажу вяленую рыбу, дичь и баранье сало; потом чумаки с солью, степные и лесные пасечники с медом и воском, смолокуры с дегтем; затем крестьяне с подводами, реестровые казаки, татары из Белгорода и бог еще знает кто – бродяги, «сиромахи» с края света. Весь город был полон пьяных, в Чигирине приходилось ночевать, значит, и погулять на ночь. На рынке разложили костры; местами пылали бочки со смолой. Везде стоял шум и говор. Пронзительный звук татарских пищалок и барабанов смешивался с мычаньем скота и мягкими звуками лир, под аккомпанемент которых слепые распевали любимую тогда песню:

Соколе ясний,
Брате мий ридний,
Ты високо литаєшь,
Ты далеко видаєшь.

А рядом раздавались дикие возгласы: «Гу-га! Гу-га!» казаков, совершенно пьяных, вымазанных дегтем и отплясывающих на рынке трепака. Все это было чем-то диким и безумным.

Зацвилюховскому достаточно было одного взгляда, чтоб убедиться в справедливости слов Барабаша. Малейшая искра могла воспламенить эту дикую стихию, склонную к грабежу,

¹⁰ Nullius – «ничья земля», т. е. в религиозном отношении не завоеванная территория.

привычную к битвам, каких немало было по всей Украине. А за этими толпами стояла еще Сечь, стояло Запорожье, только недавно, после Маслового Става, обузданное и подчиненное, но нетерпеливо грызущее свои удила, не забывшее прежних привилегий, ненавидящее комиссаров и представлявшее организованную силу. Эта сила имела за собой, кроме того, симпатию несметных масс крестьянства, менее терпеливого, чем крестьянство других провинций Речи Посполитой, ибо у него под рукой был Чертомелик, а на нем безначалие, разбой и воля. И пан хорунжий, сам русский и верный сын восточной церкви, грустно задумался. Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Кремского, знал украинское разбойничество, может быть, лучше, чем кто-нибудь на Руси, а зная в то же время Хмельницкого, он понимал, что тот стоит двадцати Лобод и Наливаек. Он понял всю опасность его бегства в Сечь, особенно с королевскими грамотами, о которых пан Барабаш говорил, что они были полны обещаний для казаков, поощрявших их к противодействию шляхте.

– Мосци-полковник черкасский, – сказал он Барабашу, – вы должны бы ехать в Сечь, чтобы противодействовать влиянию Хмельницкого и умиротворять, умиротворять!

– Мосци-хорунжий, – ответил Барабаш, – скажу вам только одно, что при известии о бегстве Хмельницкого с бумагами половина моих черкасских людей сегодня ночью бежала вслед за ним в Сечь. Мое время прошло – мне могила, не булава.

Действительно, Барабаш был хороший солдат, но человек старый и без всякого влияния.

Тем временем они подошли к дому Зацвилюховского; к старому хорунжему вернулось спокойствие и ясность духа, и за кружкой меда он сказал:

– Все это пустяки, – если, как говорят, готовится война с басурманами, а оно, кажется, так и будет. Хотя Речь Посполитая и не хочет войны, а сеймы уж и так немало испортили крови королю, король все-таки может поставить на своем. Весь этот огонь можно будет обратить на турок, и во всяком случае у нас есть время. Я сам поеду к пану Краковскому, изложу ему все дело и буду просить его придвинуть войска как можно ближе. Добьюсь ли я чего-нибудь – не знаю, потому что он, несмотря на свою военную опытность и ум, страшно упрям и полагается на свое войско. Вы, мосци-полковник черкасский, держите казаков в узде, а вы, мосци-наместник, по приезде в Лубны предостерегите князя, чтобы он обратил внимание на Сечь. Даже если они и предпримут что-нибудь – повторяю: у нас есть время. В Сечи народу теперь немного; разошлись за рыбой, за зверем, по всем украинским деревням. Прежде чем соберутся, много воды утечет в Днепре. Кроме того, князя боятся и, если узнают, что он обратил свой взор на Чертомелик, может быть, будут сидеть тихо.

– Я хоть через два дня готов выехать из Чигирина, – сказал наместник.

– И отлично! Два, три дня ничего не значат. Вы, пане полковник, пошлите гонцов с известием к пану коронному хорунжему и князю Доминику. Да вы уж спите, вижу?

Действительно, Барабаш сложил руки на животе и задремал; вскоре он стал даже похрапывать. Старый полковник, когда не пил и не ел – до чего был большой охотник, – обыкновенно спал.

– Посмотрите, ваць-пане, – тихо сказал Зацвилюховский наместнику, – вот при помощи такого старика варшавские умники хотят держать казаков в страхе. Бог с ними! Верили также и самому Хмельницкому, с которым канцлер входил в какие-то переговоры и который ни в коем случае не оправдает этого доверия...

Наместник вздохнул в знак сочувствия. Барабаш всхрипнул сильнее и пробормотал сквозь сон:

– Спаси Христос! Спаси Христос!

– Когда вы думаете тронуться из Чигирина? – спросил хорунжий.

– Придется дня два подождать Чаплинского. Он, верно, захочет удовлетворения за посрамление.

– Не сделает этого. Он скорее послал бы на вас своих слуг, если бы вы не носили мундира княжеского офицера; задеть князя – страшное дело, даже для слуги Конецпольских.

– Я уведомя его, что жду, а дня через два или через три поеду. Засады я не боюсь, у меня сабля на боку и со мной люди.

Сказав это, наместник распрощался со старым хорунжим и вышел.

Над городом стояло такое зарево от костров на рынке, что, казалось, весь Чигирин горит, а говор и крики еще усилились с наступлением ночи. Евреи совсем не показывались из своих домов. В одном углу толпа чабанов выла унылые степные песни. Дикие запорожцы плясали у костров, бросая вверх шапки, стреляя из пищалей, и пили горилку квартами. Там и сям затевались драки, которые умирляли люди старосты. Наместник должен был расчищать себе дорогу рукоятью сабли и, прислушиваясь к казацкому гомону и шуму, думал минутами, что это отголоски мятежа. Ему казалось также, что он видит вокруг злобные взоры и слышит тихие проклятия. В его ушах еще звучали слова Барабаша: «Спаси Христос! Спаси Христос!», и сердце его забило сильнее.

А в городе тем временем чабаны все громче заводили песни, а запорожцы палили из самопалов и наливались горилкой.

Выстрелы и дикие крики: «У-ха! У-ха!» – доходили до ушей наместника даже тогда, когда он лег спать в своей квартире.

III

Через несколько дней отряд нашего наместника быстро подвигался к Лубнам. Переправившись через Днепр, он пошел по широкой степной дороге, которая соединяла Чигирин с Лубнами, шла на Жуки, Семь Могил и Хо-рол. Другая такая дорога вела из княжеской столицы в Киев. В давние времена, перед битвою гетмана Жолкевского под Солоницей, этих дорог совсем не было. В Киев из Лубен ездили степью и лесами, в Чигирин – водой, обратным путем на Хорол. Вообще это надднепровское государство – древняя половецкая земля – было просто пустыней, заселенной немного больше Диких Полей, – пустыней, часто навещаемой татарами и открытой для запорожских шаек.

Над берегами Суды шумели огромные, почти непроходимые леса; на низких берегах Сулы, Слепорода, Рудой, Коровая, Оржавца, Псела и других больших и малых рек образовались болота, поросшие или густым кустарником, лесом, или травой в виде луговин. В этих лесах и болотах находил себе убежище всякий зверь, в темных лесных чащах жило несметное множество бородатых туров, медведей и кабанов, а рядом с ними стаи серых волков, рысей, куниц, целые стада серн и красных лисиц; в болотах и речных заводях бобры возводили свои постройки. В Запорожье ходили слухи, что между бобрами есть столетние старцы, белые как снег.

В высоких сухих степях носились табуны диких лошадей с кудлатыми головами и наливыми кровью глазами. Реки кишели рыбой и множеством водяных птиц. Странная была эта земля, наполовину вымершая, но все еще носившая следы прежней человеческой жизни. На каждом шагу – пепелища каких-то доисторических городов; сами Лубны и Хорол выросли на таких пепелищах; на каждом шагу – могилы новые и старые, уже поросшие лесом. И здесь, как на Диких Полях, ночью вставали духи и упыри, а старики-запорожцы рассказывали у костров чудеса о том, что творится иногда в этих лесных чащах, откуда доходил порою вой неведомых зверей, крики полулюдские, полужвериные, страшные отголоски не то битв, не то охоты. Под водой звенели колокола потонувших городов. Земля была неприятна, малодоступна, местами чересчур болотистая, местами безводная, выжженная, сухая и небезопасная для жилья. Осевших и заводивших хозяйство стирали с лица земли татарские набеги. Заглядывали сюда только запорожцы для охоты на бобров и других зверей и для рыбной ловли. В мирные времена большая часть низовцев расходилась из Сечи на охоту, или, как тогда говорили, на «промысел», по всем рекам, оврагам, лесам и камышам, охотясь на бобров в таких местах, о существовании которых мало кто и знал.

Но все же оседлая жизнь пробовала укорениться на этой земле, как растение, которое старается, где только можно, ухватиться за почву и, когда его вырвут, прорастает снова.

На пустырях появились города, укрепления, колонии, слободы и хутора. Земля местами была плодородна, а свобода манила. Но жизнь зацвела здесь лишь с переходом этих земель в руки князей Вишневецких. Князь Михаил после женитьбы на Могилянке стал старательно устраивать свои заднепровские владения: привлекал людей, заселял ими пустыри, освобождал их от повинностей на тридцать лет, строил монастыри и вводил всюду свое княжеское право. Даже переселенец, поселившийся здесь неведомо когда и считавший себя собственником земли, охотно переходил на роль княжеского чиншевика¹¹, зная, что этот дает ему покровительство мощной руки, защищает его от татар и низовцев, которые были подчас еще страшнее татар. Настоящая жизнь зацвела здесь только под железной рукой молодого князя Еремии. Его владения начинались сейчас же за Чигирином, а кончались под Конотопом и Ромнами. Они не составляли еще всего богатства князя, ибо земли его простирались от Сандомирского

¹¹ Чиншевик – человек, платящий князю оброк.

воеводства, по воеводствам Волынскому, Русскому и Киевскому, но надднепровские земли были зеницей ока победителя под Путивлем.

Татарин долго выжидал над Орлом, над Ворсклой, принохиваясь, как волк, прежде чем осмеливался пустить коня на север; низовцы не пробовали вторгаться. Местные шайки беспокойного люда перешли на службу. Дикий, разбойный люд, живший прежде грабежами и разбоями, обузданный князем, занял «полянки» на границах и, сидя на рубежах государства, как собака на цепи, грозил своими страшными зубами наездникам.

Все расцвело и ожило. По следам старых дорог проложили новые; по рекам легли плотины, насыпанные руками пленных татар или низовцев, пойманных с оружием в руках на разбое. Там, где прежде только дико завывал ветер в камышах, волки и русалки, – теперь стучали мельницы. Более четырехсот водяных колес, не считая рассеянных повсюду ветряков, мололи хлеб в одном только Заднепровье. Сорок тысяч чиншевиков вносили оброк в княжескую казну, леса наполнились пасаками, на границах вырастали все новые деревни, хутора, слободы. В степях рядом с дикими табунами паслись стада домашнего скота и лошадей. Бесконечно разнообразный вид лесов и степей украсился дымом хат, золочеными куполами церквей и костелов; пустыня превратилась в довольно заселенный край.

Пан наместник Скшетуский ехал весело и не спеша, точно по землям собственной усадьбы, находя по дороге всевозможные удобства. Это было начало января 1648 года, но странная, исключительная зима решительно ничем себя не проявляла. В воздухе пахло весной; земля оттаяла, сверкала талыми лужами, на полях зеленели всходы, а солнце так сильно припекало в полдень, что тулупы нагревали спину, как летом.

Отряд наместника значительно увеличился. В Чигирине к нему присоединилось валашское посольство, посланное господарем в Лубны, с паном Розваном Урсу во главе. Посольство сопровождал эскорт из нескольких десятков людей и телеги с челядью. Кроме того, с наместником ехал наш знакомый, пан Лонгин Подбицепта герба «Сорви Капюшон», со своим длинным мечом и несколькими людьми.

Солнце, чудесная погода и благоухание приближающейся весны наполняли сердце какой-то радостью, а наместник, кроме того, радовался, что возвращается из долгого путешествия под княжеский кров, который был вместе с тем и его кровом, – возвращается, удачно выполнив поручение, уверенный в хорошем приеме.

Впрочем, у него были и еще другие причины радоваться.

Кроме награды князя, которого наместник любил всей душой, его ждала в Лубнах и пара черных очей – сладких, как мед.

Очи эти принадлежали Анусе Божобогатой-Красеньской, фрейлине княгини Гризельды, самой красивой девушке из всей женской свиты, великой проказнице, вскружившей головы всем мужчинам в Лубнах, но никем не увлекавшейся. У княгини Гризельды нравственность стояла на первом месте, строгость непомерная, но это не мешало молодежи обмениваться красноречивыми взглядами и вздыхать. Пан Скшетуский посылал тогда свои воздыхания к черным очам вместе с другими, а когда оставался один в своей комнате, то хватал лютню в руки и запевал:

Как татарская орда,
Ты в полон берешь сердца.

Но так как он был человек веселый и страстно преданный своему военному искусству, он не слишком близко принимал к сердцу то, что Ануся улыбалась ему так же, как и пану Быховцу из валашской хоругви, как и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыевскому, драгуну, и даже пану Барановскому, гусару, хотя этот последний был обезображен оспой и шепелявил по причине поврежденного пулей нёба. Наш наместник однажды уже дрался из-за Ануси на

саблях с паном Володыевским, но, когда пришлось долго сидеть в Лубнах без дела, он скучал даже и в присутствии Ануси, а когда пришлось ехать, то поехал с охотой, без сожаления, без печали.

Но зато и возвращался с радостью. Теперь, следуя из Крыма с удачно выполненным поручением, он весело напевал и ласкал коня, едучи рядом с паном Лонгином, который, сидя на своей громадной инфляндской кобыле, был угнетен и печален как всегда. Телеги посольства, солдаты, конвой остались далеко позади.

– Его милость посол лежит в телеге, как чурбан, и все спит, – сказал наместник. – Наговорил он мне немало чудес о своей Валахии, вот и устал наконец. А слушать интересно. Что и говорить! Край богатый, климат отменный; золота, вина, скота и всего вдоволь. Я тогда же подумал, что наш князь, как рожденный от Могилянки, тоже имеет право на господарский престол – ведь домогался его князь Михаил. Валахия – не новость нашим. Бивали они там и турок, и татар, и валахов, и семиградцев...

– Но люди там помягче наших! – сказал пан Лонгин. – Мне об этом пан Заглоба рассказывал в Чигирине, а если бы я и не поверил ему, то это подтверждают и божественные книжки.

– Какие книжки?

– У меня есть с собой такая, и я могу ее показать вам... Я всегда вожу ее с собой.

Тут пан Лонгин полез в сумку у седла, достал оттуда небольшую книжку, переплетенную в телячью кожу, сначала набожно поцеловал ее, потом перевернул несколько страниц и сказал:

– Читайте.

Пан Скшетуский начал:

– «Под твою милость прибегаем, Богородице»... Где же тут о валахах? Что вы говорите? Это антифон.

– Читайте дальше, ваць-пане!

– «...да содеемся достойны обетов Господа Иисуса Христа. Аминь».

– Ну а теперь вопрос... Скшетуский прочел:

– «Вопрос: почему валашская конница называется легкой? Ответ: ибо легко обращается в бегство. Аминь». Гм... Правда? Однако в этой книжке довольно странное смешение материй...

– Это книжка солдатская, где рядом с молитвами помещены различные *instructiones militares*¹², из коих вы узнаете о разных народах благородных и низких; что касается валахов, то они трусы и притом великие вероломцы и изменники.

– Что изменники, это видно из приключений князя Михаила... Слышал я, правда, что и солдаты они неважные. Вот у нашего князя есть целая валашская хоругвь под начальством пана Быховца, а вряд ли там наберется хоть двадцать валахов.

– Как вы думаете, пан наместник, много у князя людей?

– Тысяч восемь, не считая казаков, что стоят в «полянках». Но Зацвилюховский говорил мне, что теперь идут новые наборы.

– Так, может, бог даст, и повоюем под начальством князя?

– Говорят, готовится большая война с турками и сам король пойдет со всеми силами Речи Посполитой. Знаю также, что подарки татарам прекращены и что они от страха не смеют делать набегов. Я об этом слышал и в Крыму, где меня, должно быть, поэтому и принимали с таким почетом. Говорят, когда король и гетманы двинутся, князь должен будет идти на Крым и совершенно стереть татар с лица земли. Верно то, что никому другому такого важного дела не поручат.

Пан Лонгин поднял кверху глаза и руки.

¹² Воинские наставления (лат.).

– Боже милосердый, пошли такую священную войну на славу христианству и нашему народу, а мне, грешному, дозвожь на этой войне выполнить мой обет, чтобы я мог либо утешиться сладостями любви, либо найти мученическую кончину.

– Вы дали обет касательно войны?

– Столь достойному кавалеру, как вы, я открою все тайны моей души, хотя придется говорить много. Но раз вы охотно слушаете, то начинаю. Вы знаете, ваць-пане, что мой герб называется «Сорвикапюшон», а происхождение его следующее: когда под Грюнвальдом предок мой, Стowejко Подбиента, увидел рядом трех рыцарей в монашеских капюшонах, он подъехал к ним и сразу срубил всем троим головы; об этом славном подвиге старинные хроники отзываются с великой похвалой моему деду...

– У вашего предка рука была не легче вашей. Недаром его называли «Сорвикапюшон».

– Король дал ему герб, а в нем три козьих головы на серебряном поле, – в память этих рыцарей, у которых такие же серебряные головы были изображены на шлемах. Этот герб вместе вот с этим мечом предок мой, Стowejко Подбиента, завещал своим потомкам, повелев им поддерживать славу своего рода и меча.

– Что и говорить, вы происходите из знаменитого рода.

Пан Лонгин стал горько вздыхать, потом, успокоившись немного, продолжал:

– Будучи последним в роде, я поклялся в Троках Пречистой Деве жить в чистоте и ступить на брачный ковер не раньше чем, по примеру предка моего, Стowejки Подбиенты, срублю этим мечом, одним взмахом, три неприятельских головы. О, Боже милосердый! Ты видишь, я сделал все, что было в моих силах. Чистоту я сохранил до сего дня, нежному сердцу своему приказал молчать, искал войны и сражался, но мне не было счастья... Поручик улыбнулся в ус.

– Так вам не удалось срубить трех голов?

– Не удалось. Счастья нет! По две не раз случалось, а трех никогда. Не удавалось подвезать, а трудно просить врагов, чтоб они стали поровнее. Один только Бог видит мои печали: есть сила, есть средства, но... юность уходит, скоро стукнет сорок пять лет... Сердце рвется любить, род гибнет, а трех голов нет как нет... Вот какой я сорвикапюшон! Посмешище для людей, как справедливо говорит пан Заглоба! Но я во славу Господа Иисуса Христа все выношу терпеливо.

Литвин принялся так вздыхать, что даже его инфляндская кобыла, должно быть из сочувствия к своему хозяину, жалобно захрапела.

– Я могу вам сказать одно, – заметил наместник, – что если вы при князе Еремии не найдете случая, то верно нигде не найдете!

– Дай бог! – ответил пан Лонгин. – Поэтому я и еду просить князя. Дальнейший разговор был прерван странным шумом крыльев. Как мы

говорили, в эту зиму реки не замерзали, перелетные птицы не улетали за море и потому везде было много водяной птицы. Поручик с паном Лонгином приближались к берегу Каганлыка, когда над их головою прошумела целая стая журавлей, летевших так низко, что в них можно было пустить палкой. Стая летела со страшным криком и вместо того, чтобы опуститься в тростник, вдруг поднялась кверху.

– Летят, точно их гонят, – заметил пан Скшетуский.

– А вот. Видите? – И пан Лонгин указал на белую птицу, которая, рассекая воздух, наискось старалась подлететь под стаю снизу.

– Сокол! Сокол! Мешает им опуститься! – закричал наместник. – У посла есть соколы, он, должно быть, и спустил их!

В это время подъехал пан Розван Урсу на черном анатолийском жеребце, а за ним несколько человек прислуги.

– Пан поручик, прошу потешиться, – сказал он.

– Это сокол вашей милости?

– Мой, и очень хороший, вы увидите.

Они поскакали втроем, а за ними валах-сокольничий с обручем – он не упускал из виду птиц и подзадоривал голосом сокола. Храбрая птица в это время заставила стаю подняться кверху, потом молнией взлетела еще выше и повисла над ней. Журавли сбились в один огромный вихрь, шумевший, как буря, крыльями. Грозные крики наполняли воздух. Птицы вытянули шеи, подняли вверх клювы и ждали нападения.

А сокол все кружил над ними. Он то опускался, то поднимался, точно колеблясь ринуться вниз, где его грудь ожидала сотня острых клювов. Его белые перья, залитые солнцем, сверкали как само солнце на безоблачной лазури неба.

Вдруг, вместо того чтобы броситься на стаю, он стрелой улетел вдаль и вскоре исчез за группами деревьев.

Скшетуский первый помчался за ним. Посол, сокольничий и пан Лонгин последовали его примеру.

Вдруг на повороте наместник задержал коня – и странная картина предстала его глазам. Посреди дороги лежала коляска со сломанной осью. Двое казаков держали отпряженных лошадей; кучера не было: должно быть, он уехал искать помощи. Возле коляски стояли две женщины, одна в лисьем тулупе и такой же шапке, с суровым, мужским лицом; другая была молодая девушка, высокого роста, с тонкими, правильными чертами лица. На плече этой молодой панны спокойно сидел сокол и, распутив крылья, ластился к ней клювом.

Наместник так осадил коня, что тот копытами врылся в песок дороги, приложил руку к шапке, смешавшись, не зная, что делать – поклониться или заговорить о соколе. Смутился он еще и потому, что на него из-под куньей шапочки взглянули такие глаза, каких он в жизни своей не видывал: черные, бархатные, влажные, изменчивые, огненные, в сравнении с которыми глаза Ануси Божобогатой потускнели бы, как свеча при факелах. Над этими глазами рисовались черные шелковые брови; розовые щеки цвели как прекрасный цветок, из-за малиновых, слегка приоткрытых губ сверкали жемчужные зубки, из-под шапки выбивались толстые черные косы. «Юнона или другое какое божество?» – подумал наместник при виде этих лучистых глаз, этой упругой груди и белого сокола на плече. Наш поручик стоял без шапки, засмотревшись на нее, как на картину, – только глаза его сияли, а сердце сжималось какой-то странной болью. Он уже хотел начать речь словами: «Если ты смертное существо, а не богиня...», как подъехали посол, пан Лонгин и сокольничий. Увидев их, богиня протянула руку, сокол перескочил на нее и уселся, переступая с лап на лапу. Наместник хотел предупредить сокольничего и снять птицу, как вдруг случилось нечто странное. Сокол, оставаясь одной лапой на руке панны, другой ухватился за руку наместника и вместо того, чтобы пересесть, запищал радостно и начал так сильно тянуть к себе руку наместника, что обе руки встретились. По телу Скшетуского пробежала дрожь, а сокол только тогда позволил снять себя, когда сокольничий надел ему шапочку на голову. Но вот заговорила старшая дама:

– Рыцари! Кто бы вы ни были, не откажите помочь женщинам, которые, оставшись без помощи в пути, не знают, что им делать. До нашего дома не дальше трех миль, но в нашей коляске лопнула ось, и нам приходится ночевать в поле. Я послала кучера к сыновьям, чтоб нам прислали хоть телегу, но пока он доедет и вернется, совсем стемнеет, а в этом урочище оставаться ночью страшно – здесь близко могилы...

Старая шляхтянка говорила скоро и таким грубым голосом, что наместник даже дивился. Все же он ответил учтиво:

– Не допускайте и речи, сударыня, чтобы мы оставили вас и вашу прелестную дочь без помощи. Мы едем в Лубны, где служим в войске его светлости князя Еремии Вишневецкого, и, кажется, нам по дороге. Но если бы было и не так, мы охотно свернули бы в сторону, если вам не будет неприятно наше общество. Что касается экипажей, у нас их нет, мы с товарищами

едем по-солдатски, но они есть у пана посла, и я надеюсь, что он, как любезный кавалер, охотно предоставит вам, сударыня, свою карету.

Посол поднял свою соболью шапку, так как, зная польский язык, он понял, в чем дело, ответил комплиментом и велел сокольничему скакать за экипажем, так как обоз остался далеко позади. Наместник все это время смотрел на панну, которая не могла вынести его пожирающего взгляда. А женщина с лицом казака продолжала:

– Да наградит вас Бог, ваць-панове, за вашу помощь. До Лубен еще далеко: потому не откажите заехать ко мне и к моим сыновьям. Мы будем вам рады. Мы из Розлог-Сиромах; я вдова князя Курцевича-Булыги, а это не моя дочь, а дочь старшего Курцевича, брата моего мужа. Он отдал нам на воспитание сироту. Сыновья мои теперь дома, а я возвращаюсь из Черкас, куда ездила на богомолье к Святой Пречистой. По дороге с нами случилось это несчастье, и, если бы не вы, нам пришлось бы ночевать среди дороги.

Княгиня продолжала бы говорить, но в это время издали показался экипаж, окруженный прислугой посла и солдатами пана Скшетуского.

– Значит, ваша милость пани – вдова князя Василия Курцевича? – спросил наместник.

– Нет, – быстро и как бы гневно отвечала княгиня. – Я вдова Константина, а она – дочь Василия, Елена. – Княгиня указала рукой на девушку.

– О князе Василии много рассказывают в Лубнах. Это был великий воин, друг покойного князя Михаила.

– Я не была в Лубнах, – с некоторой надменностью сказала княгиня, – и о военных подвигах его не знаю, а о его позднейших поступках вспоминать нечего, и так о них все знают.

При этих словах княжна Елена опустила голову, как цветок, подрезанный косою, а наместник возразил с живостью:

– Не говорите этого, ваць-пани, – князь Василий благодаря страшному заблуждению и несправедливости людей был присужден к лишению имущества и жизни и должен был бежать, но потом открылась его невинность. Ему возвращено его доброе имя, восстановлена его слава; и слава эта должна быть тем больше, чем больше была несправедливость.

Княгиня быстро взглянула на наместника, и на ее неприятном, резком лице отразился гнев. Но пан Скшетуский, хотя и был молод, внушал ей своим рыцарским видом невольное уважение, и она не решалась противоречить ему и обратилась к княжне Елене:

– Ваць-панне этого слушать не годится! Поди лучше и присмотри, чтобы из нашей коляски все вещи были переложены в карету, в которой нам их милости панове дозволили ехать.

– Вы позволите мне помочь вам? – спросил наместник.

Они пошли к коляске, и, как только стали у ее дворец, шелковые ресницы княжны поднялись и взор ее упал на лицо поручика, точно ясный, теплый солнечный луч.

– Как мне благодарить вашу милость, – заговорила она голосом, показавшимся наместнику столь же сладкой музыкой, как звуки флейт и лютней, – как мне благодарить вас, что вы вступились за честь моего отца и против несправедливости, которую он встречает у ближайших родных.

– Мосци-панна, – ответил поручик, чувствуя, что сердце его тает, как снег весной. – Клянусь Богом, за эту благодарность я готов броситься в огонь или пролить свою кровь. Но чем желание мое сильнее, тем заслуга меньше – и за такую малость не пристало мне принимать благодарность из уст ваць-панной.

– Если вы ею пренебрегаете, то чем могу я, бедная сирота, выразить свою благодарность?

– Я не пренебрегаю, – с возрастающей силой продолжал наместник. – Я хочу лишь столь великой милости заслужить долгой и верной службой и прошу только принять меня на службу.

Княжна, слыша это, покраснела, смешалась, потом вдруг побледнела и, закрыв лицо руками, прошептала жалобно:

– Такая служба одно лишь несчастье принесла бы ваць-пану. Наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и взволнованно:

– Что Бог пошлет, а если даже и горе, я готов упасть к ногам ваць-панни и просить, как милости.

– Не может того быть, чтобы вы, пане рыцарь, с первого взгляда так захотели служить мне.

– Едва я увидел вас, как совсем забыл о себе, и вижу, что свободному донине солдату придется сделаться невольником. Но, видно, такова воля Божья. Чувство – как стрела, неожиданно пронзающая грудь... И вот я чувствую ее острие, хотя и сам бы вчера не поверил, если бы мне кто-нибудь сказал.

– Если вы, ваць-пане, не верили вчера, то как же я могу поверить этому сегодня?

– Время лучше всего докажет это ваць-панне, а искренность мою вы слышите в моих словах и видите на моем лице.

И снова шелковые ресницы княжны поднялись, и ее взору открылось мужественное, благородное лицо молодого рыцаря и взгляд, полный такого восторга, что густой румянец залил ее лицо. Но она не опускала уже глаз, и с минуту он упивался сладостью этих чудных глаз. И они смотрели друг на друга, как два существа, которые, встретившись среди дороги, в степи, почувствовали вдруг, что избрали друг друга сразу, сразу потянулись друг к другу, как два голубя. Но этот восторженный миг был прерван резким голосом княгини, звавшей княжну. Экипажи подъехали. Прислуга стала переносить вещи, и через минуту все было готово.

Пан Розван Урсу, учтивый вельможа, уступил дамам свой экипаж, наместник сел на коня. Тронулись в путь.

День склонялся к вечеру. Разлившиеся воды Каганлыка сверкали золотом заходящего солнца и пурпуром зари. Высоко на небе медленно подвигались к горизонту легкие стада розовых облаков, словно, утомившись блуждать по небу, шли отдыхать в какую-то неведомую колыбель. Пан Скшетуский ехал со стороны княжны, но не занимал ее разговором, так как говорить в присутствии других так, как он говорил за минуту до того, не мог, а говорить пустые слова не был в состоянии. Только в сердце он чувствовал блаженство, и голова кружилась как от вина.

Весь караван быстро подвигался вперед, тишина прерывалась только фырканием лошадей и лязгом стремян. На задних экипажах валахи затянули было какую-то печальную песню, но вскоре перестали; зато раздался слегка гнусавый голос пана Лонгина, который пел набожно: «Я сделал так, чтобы на небе всходило вечное светило и светом своим покрывало землю». Между тем стемнело, на небе зажигались звездочки, а с влажных лугов поднялись белые туманы, сливаясь в бесконечное море.

Въехали в лес, но не успели сделать несколько сажен, как послышался топот коней, и перед ними появилось пять всадников. Это были молодые князья, которых кучер предупредил о приключении и которые ехали навстречу матери, с возом, запряженным четверкой лошадей.

– Это вы, сынки? – закричала старая княгиня.

– Мы, мать! – Всадники подъехали к карете.

– Здравствуйте! Благодаря вот этим рыцарям мы уже не нуждаемся в помощи. Это мои сыновья, которых я поручаю благосклонности мосци-панов: Семен, Юрий, Андрей и Николай... А кто пятый? – спросила княгиня, всматриваясь в темноту. – Если старые глаза мои еще видят, так это Богун. Так?

Княжна вдруг откинулась в глубь коляски.

– Бью челом вам, княгиня, и вам, княжна Елена, – сказал пятый всадник.

– Богун! – продолжала старуха. – Из полка приехал, сокол? И с торбаном¹³? Ну, здравствуй, здравствуй! Эй, сынки! Я уж просила их милостей панов на ночлег в Розлоги, а теперь и вы им поклонитесь. Гость в дом – Бог в дом! Милости просим!

¹³ Торбан – старинный музыкальный инструмент.

Князя сняли шапки.

– Просим покорно в нашу убогую хату!

– Мне уж обещались и его милость пан посол, и пан наместник. Будем знаменитых гостей принимать; только им, привыкшим к придворной роскоши, по вкусу ли придется наша скромная трапеза?

– Мы выросли на солдатском хлебе, а не на придворном, – сказал пан Скшетуский.

А пан Розван Урсу добавил:

– Я пробовал уже у шляхты хлеба-соли и знаю, что с ними не сравнятся и придворные.

Экипажи снова тронулись, и княгиня продолжала:

– Давно уж, давно миновали наши лучшие времена. На Волыни и в Литве есть еще Курцевичи, которые держат свиту и живут по-пански, но те бедных родственников и знать не хотят, – пусть их Бог за это накажет! У нас почти казацкая нужда... Уж вы за нее простите, примите от чистого сердца то, что мы от чистого сердца предлагаем. Я с пятью сыновьями сижу на одной деревеньке и нескольких слободах, а у нас на попечении еще и эта панна.

Наместника очень удивили эти слова. Он слышал в Лубнах, что Розлоги – вовсе не малое шляхетское поместье и что они раньше принадлежали князю Василию, отцу Елены. Но спрашивать теперь, как они перешли в руки Константина и его вдовы, он не считал удобным.

– У ваць-пани, значит, пять сыновей? – спросил пан Розван Урсу.

– Было пять, пять львов, – ответила княгиня, – старшему, Василию, неверные в Белгороде выжгли глаза факелами, отчего у него и ум помутился. Когда молодежь уходит на войну, я остаюсь одна, с ним да вот с этой панной, от которой больше горя, чем радости.

Презрительный тон княгини, когда она говорила о племяннице, был настолько явственен, что не ускользнул от внимания поручика. В груди его вспыхнуло негодование, и он чуть было не выругался, но слова замерли у него на устах, когда, взглянув на освещенное луной лицо княжны, он заметил, что ее глаза полны слез.

– Что с вами ваць-панна? Отчего вы плачете? – спросил он тихо. Княжна молчала.

– Я не могу видеть ваших слез, – говорил Скшетуский, наклонившись к ней и, видя, что старая княгиня разговаривает с паном Розваном и не смотрит в их сторону, продолжал: – Ради бога, скажите хоть слово... Видит бог, я отдал бы и жизнь, и здоровье, лишь бы вас утешить.

Вдруг он почувствовал, что один из всадников так напирал на него, что лошади их трутся боками.

Разговор с княжной оборвался. Удивленный и разгневанный Скшетуский обернулся к смельчаку.

При свете луны он увидел пару глаз, которые смотрели на него надменно, вызывающе, насмешливо... Эти страшные глаза светились, как глаза волка в темном лесу.

«Что за черт? Бес, что ли?» – подумал наместник, заглянув близко в эти горящие глаза.

– А что это ваша милость так наезжает на меня и глазами сверлит? Всадник ничего не ответил, но продолжал смотреть так же упорно и вызывающе.

– Если темно, так я могу огня высечь, а если на дороге тесно, так айда в степь! – сказал наместник, возвысив голос.

– А ты отстань, лях, от коляски, коли видишь степь! – ответил всадник. Наместник, человек горячий по природе, вместо ответа так толкнул ногой коня своего соседа, что тот в один миг очутился на краю дороги.

Всадник осадил его на месте, и одну минуту казалось, что он хочет броситься на наместника, но в это время раздался резкий, повелительный голос княгини:

– Богун, що с тобою?

Эти слова мгновенно подействовали. Всадник, повернув коня, объехал коляску и очутился около княгини.

– Що с тобою? Ты ведь не в Переяславе, не в Крыму, ты в Розлогах. Помни это! А теперь ступай вперед и проводи коляску; скоро овраг, а там темно. Ходи, сиромеха!

Пан Скшетуский и рассердился, и удивился в то же время. Очевидно, Богун искал повода к ссоре и нашел бы его, но зачем он искал его? Откуда это неожиданное нападение?

В голове наместника промелькнула мысль, что в этом главную роль играет княжна, он уверился в этом, взглянув на ее лицо, бледное и испуганное.

Между тем Богун, согласно приказанию княгини, поскакал вперед. Княгиня посмотрела ему вслед и сказала точно про себя, обернувшись к наместнику:

– Шальная голова. Бес казацкий!

– Видно, не совсем в уме! – презрительно ответил пан Скшетуский. – Этот казак на службе у ваших сыновей?

Старая княгиня откинулась в глубь коляски:

– Что вы говорите, ваць-пане? Это – Богун, подполковник, знаменитый юнак¹⁴, друг моих сыновей, все равно что мой шестой, приемный, сын. Не может быть, чтобы вы ничего о нем не слыхали; его все знают.

Действительно, пану Скшетускому было хорошо известно это имя. Среди имен разных казацких полковников и атаманов это имя гремело по обе стороны Днепра. Слепцы распевали о Богуне на ярмарках и в корчмах; на вечеринках рассказывали чудеса о молодом атамане. Кто он был, откуда взялся, никто не знал. Верно одно, что колыбелью его были степи, Днепр, пороги и Чертомелик со своим лабиринтом теснин, оврагов, островов, скал, лесов и тростников. С малых лет он сжился с этим диким миром. В мирные времена он ходил вместе с другими «за рыбой и зверем», шатался по днепровским затонам, бродил по болотам и тростникам вместе с полунагими товарищами, то целые месяцы проводил в лесных чащах. Школой ему служили нападения на татарские табуны и стада в Диких Полях, засады, битвы, наезды на береговые улусы, на Белгород, в Валахию или на чайках¹⁵ в Черное море. Днем на коне, ночью при костре, в степи – других дней и ночей он не знал. Он рано стал любимцем всего Низовья, рано начал предводительствовать другими и скоро превзошел всех своей отвагой. Он готов был хотя бы с сотнею товарищей идти хоть на Бахчисарай и поджечь его на глазах у самого хана; он жег улусы и города, вырезал дочиста всех жителей, пленных мурз разрывал на части лошадьми, налетал, как буря, исчезал, как смерть. В море, как бешеный, кидался на турецкие галеры. Углублялся в самую середину Буджака, лез, как говорили про него, в львиную пасть. Некоторые его предприятия были просто безумны. Менее отважные, менее рискованные кончали свою жизнь на кольях в Стамбуле или гнили у весел турецких галер, а он всегда выходил невредимым, с богатой добычей. Говорили, что он нагреб несметные сокровища и спрятал их в днепровских камышах; но видели также, как он грязными сапогами топтал парчу и шелковые материи, подстилал драгоценные ковры под копыта своих коней или, одетый в бархат, купался в дегте, показывая свое казацкое презрение к великолепию тканей и одежды. На одном месте он нигде не засиживался. Действиями его руководила прихоть. Иногда, прибыв в Чигирин, Черкасы или Переяслав, он гулял напропалую с другими запорожцами, то жил монахом, не говорил с людьми, уходил в степь. То окружал себя слепцами, слушал по целым дням их песни и осыпал золотом. Среди шляхты умел быть учтивым кавалером, среди казаков – самым диким казаком, с рыцарями – рыцарем, с разбойниками – разбойником. Многие считали его сумасшедшим, потому что это была действительно необузданная и страшная натура. Зачем он жил на свете, чего хотел, к чему стремился, кому служил, он и сам не знал. Служил степям, вихрям, войне, любви и своей удали. Эта удаля отличала его от других разбойничьих атаманов, имевших в виду только один грабеж, которым было все равно, кого ни грабить – своих или татар. Богун брал добычу, но

¹⁴ Юнак – молодой (сербское слово).

¹⁵ Лодках.

предпочитал ей войну; он любил опасности за их очарование; платил золотом за песни, гнался за славой, а об остальном не заботился.

Из всех атаманов он лучше других олицетворял тип казака-рыцаря, и поэтому песня избрала его своим любимцем, и имя его облетело всю Украину.

В последнее время он был переяславским подполковником, но на самом деле у него была власть полковника, потому что Старый Лобода уже слабо держал булаву в своей коченеющей руке.

Пан Скшетуский хорошо знал, кто был Богун, и если спросил старую княгиню, не состоит ли этот казак на службе у ее сыновей, то с единственной целью высказать свое презрение к нему. Он почуял в нем врага, и, несмотря на всю славу атамана, кровь наместника вскипела от того, что казак позволил себе держаться с ним так дерзко. Он догадывался, что этим дело не кончится. Пан Скшетуский тоже умел жалить, как оса, тоже был уверен в себе, тоже ни перед чем не останавливался и жадно искал опасности. Он готов был хоть сейчас погнаться за Богуном, но он ехал рядом с княжной.

Наконец коляска миновала овраг, и вдали показались огни Розлог.

IV

Курцевичи-Булыги был старый княжеский род герба «Курч», происходивший от Кориата, хотя на самом деле, кажется, шел от Рюрика. Из двух главных линий одна осела в Литве, другая – в Волыни, а в Заднепровье переселился только князь Василий, один из многочисленных потомков линии волынской. Обеднев, он не захотел оставаться среди своей богатой родни и поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу славного Яремы.

Прославившись на этой службе, оказав большие услуги князю, он получил от него в дар Красные Розлоги, которые потом были переименованы в Волчьи Розлоги, благодаря обилию волков, и поселился там. В 1629 году, приняв католичество, он женился на Рагозянке, девушке из знатного шляхетского дома. Через год от этого брака родилась Елена; мать умерла от родов, а князь Василий, не думая уже о вторичной женитьбе, всецело отдался хозяйству и воспитанию дочери. Это был человек с сильным характером и недюжинными достоинствами. Сколотив довольно скоро небольшое состояние, он тотчас подумал о своем брате Константине, который остался на Волыни в бедности и, отторгнутый богатой родней, должен был заниматься арендой поместий. Он выписал его вместе с женой и пятью сыновьями в Розлоги и делился с ним каждым куском хлеба. Так они и прожили спокойно до конца 1643 года, когда Василий отправился вместе с королем Владиславом под Смоленск. Тут-то и произошло то страшное событие, которое его погубило.

В королевском лагере было перехвачено письмо Шеину, подписанное князем Василием и запечатанное его гербового печатью. Столь явное доказательство измены со стороны рыцаря, который до сего времени пользовался незапятнанной репутацией, привело всех в величайшее изумление и ужас. Напрасно Василий клялся Богом, что ни почерк, ни подпись на письме не его: герб «Курча» на печати устранял всякие сомнения. Никто не хотел верить ему, что печать им была потеряна, и несчастный князь, *pro crimine perduelionis*¹⁶ приговоренный к лишению чести и жизни, должен был спасаться бегством. Прибыв ночью в Розлоги, он заклинал брата Константина всем святым быть для его дочери отцом и уехал навсегда. Говорили, что он еще раз писал князю Еремии, просил его не отнимать у Елены кусок хлеба и оставить ее в Розлогах под опекой Константина, и потом о нем уже не было слуху. Были вести, что он тотчас же умер, что вступил в цесарское войско и погиб на войне в Неметчине, но кто же мог знать что-нибудь верное? Должно быть, он погиб, если не интересовался больше судьбой дочери. Вскоре о нем перестали говорить и вспомнили тогда лишь, когда обнаружилась его невинность.

Некто Купцевич, витебчанин, умирая, сознался, что письмо к Шеину писал под Смоленском он и запечатал найденной в лагере печатью. После такого показания скорбь и сожаление охватили все сердца. Приговор был отменен, честь князя Василия была восстановлена, но награда за перенесенные мучения пришла слишком поздно для него самого. Что касается Розлог, то князь Еремия и не думал захватывать их. Вишневецкие лучше знали Василия и никогда не верили в его виновность. Он мог бы даже спокойно оставаться на месте и под мощной защитой Вишневецких смеяться над приговором, а если скрылся, то только потому, что не мог вынести бесчестия.

А Елена спокойно воспитывалась в Розлогах под заботливой опекой дяди, и только после его смерти начались для нее тяжелые времена. Жена Константина, женщина сомнительного происхождения, была суровая, порывистая, энергичная, и только муж умел ее держать в повиновении. После его смерти она забрала Розлоги в свои железные руки. Прислуга дрожала перед ней, дворовые боялись как огня, да и соседям она успела насолить. На третьем году своего хозяйничанья она дважды делала вооруженный набег на Сивиньских в Броварках, сама одетая

¹⁶ По обвинению в государственной измене (*лат.*).

по-мужски, верхом, предводительствуя своей челядью и наемными казаками. Когда однажды полки князя Еремии разгромили шайку татар, пошаливавших около Семи Могил, княгиня во главе своих людей добила остатки, зашедшие в Розлоги. В конце концов она прочно засела в Розлогах и стала считать их собственностью своей и своих детей. Любила она их, как волчица своих волчат, но, будучи женщиной простоватой, не подумала об их воспитании. Монах греческой веры, вывезенный из Киева, выучил их читать и писать, и этим кончилось их учение. А под боком ведь были Лубны, жил княжеский двор, где молодые князья могли бы набраться светскости в обхождении, изучить общественные и судебные дела или военное дело, вступив под знамена. У княгини, видно, были свои причины не отдавать сыновей в Лубны.

А вдруг князь Еремия вспомнит, кому принадлежат Розлоги, вздумает посмотреть, как опекают Елену, или сам из уважения к памяти Василия станет ее опекуном. Тогда пришлось бы убираться из Розлог. Княгиня предпочитала, чтобы в Лубнах забыли о том, что на свете есть какие-то Курцевичи. Но зато и молодые князья воспитывались полудикарями, скорее казацки, чем по-шляхетски. Еще ребята они принимали участие в проделках старой княгини, в ее наездах на Сивиньских и в нападениях на татарские шайки. Чувствуя к книжкам и письму вражду и отвращение, они по целым дням стреляли из лука, учились владеть кистенем, саблей или арканом. Они даже не занимались хозяйством, так как мать не выпускала их из рук. Жаль было смотреть на этих потомков знаменитого рода, в чьих жилах текла княжеская кровь, но чье обхождение было просто и грубо, чьи умы и огрубевшие сердца напминали дикую степь. И они росли как дубы; сознавая свою неотесанность, они сторонились шляхты, предпочитая общество диких атаманов казацких шаек. Еще в ранние годы вошли они в сношения с Низом, где их считали товарищами. Порой они по полгода проживали в Сечи, ходили на «промысел» с казаками, принимали участие в походах на турок и татар, и это было их любимым занятием. Мать не противилась этому, так как часто они привозили богатую добычу. Правда, во время одного из таких походов старший, Василий, попался в руки нехристей. Братья при помощи Богуна и запорожцев отбили его, но уже с выжженными глазами. С тех пор он должен был сидеть дома. Прежде самый дикий из братьев, он стал мягким и набожным. Младшие братья продолжали по-прежнему заниматься военным ремеслом, которое в конце концов снискало им кличку «князья-казаки». Достаточно было посмотреть на Розлоги-Сиромахи, чтобы угадать, какие люди в них живут. Когда пан Скшетуский и посол въехали в ворота со своими возами, они увидели не усадьбу, а скорее огромный амбар со стенами из толстых дубовых бревен, с узкими окнами, похожими на бойницы. Помещения для прислуги и казаков, конюшни, сараи и кладовые примыкали к этой усадьбе непосредственно, образуя какую-то бесформенную постройку, состоявшую из нескольких высоких и низких частей, настолько убогих с виду, что, если бы не огонь в окнах, их трудно было бы счесть за человеческое жилье. На дворе виднелись два колодезных журавля; ближе к воротам возвышался столб с колесом наверху; к нему был прикован ручной медведь. Тяжелые ворота из таких же дубовых бревен выводили на «майдан» – двор, окруженный рвом и палисадом. Очевидно, это была вооруженная крепость, укрепленная от всяческих нападений и наездов. Во всем напоминала она пограничную казацкую «полянку» – и хотя большинство помещичьих усадеб на границе были именно такого типа, но эта уж совсем походила на разбойничье гнездо. Прислуга, вышедшая с факелами навстречу гостям, скорее походила на разбойников, чем на прислугу. Огромные псы на площадке рвались с цепей, точно хотели броситься на прибывших; из конюшен доносилось конское ржание; молодые Бульги вместе с матерью стали звать прислугу, отдавать приказания и ругаться. Среди этого гама гости вошли в дом, и только здесь пан Розван Урсу, который, увидев дикость и жалкий вид поселка, почти жалел, что дал упросить себя заехать на ночлег, просто ошеломлен от удивления при виде картины, представившей перед его глазами. Внутренность дома совершенно не отвечала его наружному виду. Они вошли сначала в просторные сени со стенами, почти сплошь увешанными сбруей, оружием и шкурами диких зверей. В

двух огромных печках горели толстые колоды; при их ярком свете виднелась богатая конская сбруя, блестящие панцири, турецкие сабли, на которых горели драгоценные камни, кольчуги с золочеными застежками, полупанцири, набрюшники, ринграфы¹⁷, стальные огромной ценности, шлемы польские и турецкие; на противоположной стене висели щиты, которых уже не употребляли в то время, около них польские копья и восточные дротики, немало холодного оружия, начиная от сабель и кончая кинжалами и ятаганами, рукоятки которых отливали разными цветами, как капли росы на солнце. В углах висели связки лисьих, волчьих, медвежьих, куньих и горностаевых шкур – плод охоты князей. Ниже, вдоль стен, на колышках дремали ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей, – их держали для охоты на волков.

Из сеней гости перешли в большую гостиную. И здесь, в камине, горел яркий огонь. Роскоши в этой комнате было еще больше, чем в сенях; голые балки стен увешаны были бархатными тканями, полы покрыты роскошными восточными коврами. Посредине стоял длинный стол на крестообразных ножках, сбитый из простых досок, а на столе всевозможные сосуды, золоченые или из венецианского стекла; под стенами маленькие столы, комоды и полки, на них ларцы с бронзовыми украшениями, медные подсвечники и часы, когда-то награбленные у венецианцев турками, а потом казаками у турок. Вся комната была переполнена массой роскошных предметов, с назначением которых хозяева подчас не были знакомы; всюду роскошь смешалась с первобытной степной простотой. Ценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, красным деревом и перламутром, стояли около грубых полок, деревянные стулья – рядом с мягкими диванами, покрытыми коврами. Подушки, лежавшие по восточной моде на диванах, были в чехлах из сафьяна или бархата, но редко были набиты пухом, чаще – сеном или горохом. Дорогие ткани и предметы роскоши, все это было так называемое «добро» – турецкое или татарское, частью купленное за гроши у казаков, частью взятое во время многочисленных войн еще старым князем Василием, частью награбленное молодыми Булыгами во время походов с низовцами, которые предпочитали пускаться на чайках по Черному морю, чем жениться или заниматься хозяйством. Все это нисколько не удивило пана Скететуского, хорошо знавшего пограничные жилища, но валашский боярин не мог скрыть своего удивления при виде Курцевичей, одетых в простые сапоги и полушубки, не лучше чем у прислуги, и окруженных такой роскошью; удивлялся и пан Лонгин Подбипента, привыкший на Литве к другим обычаям.

Между тем князья принимали гостей, – они делали это от души и с большой охотой, но так как мало вращались в обществе, то это выходило у них очень неловко, и наместник едва мог удерживать улыбку.

Старший, Симеон, говорил:

– Мы рады вашим милостям и за честь благодарны. Наш дом – ваш дом, и будьте в нем как у себя. Кланяемся под убогим кровом!

В тоне его слов не было ни унижения, ни сознания, что он принимает людей, стоящих выше его: он кланялся им, по казацкому обычаю, в пояс; за ним кланялись и младшие братья, полагая, что этого требует гостеприимство.

– Челом вашим милостям бьем! Челом!

Между тем княгиня, дернув Богуна за рукав, увела его в другую комнату.

– Слышь, Богун, – сказала она поспешно, – мне некогда с тобой долго разговаривать. Видела я, что ты на молодого шляхтича зубы точишь и ищешь с ним ссоры.

– Маты, – ответил казак, целуя руку княгини, – мир широк: ему одна дорога, мне – другая. Я его не знаю, да и не слыхивал о нем, а пусть он с княжной не заговаривает, – не то, Богом кланусь, саблей голову снесу!

¹⁷ Ринграф – металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которая носилась на груди.

– Ошалел! Ошалел! Где голова, казак? Что с тобой творится? Или хочешь погубить и себя, и нас? Он – солдат Вишневецкого и наместник, человек не малый, от князя послом к хану ездил. Если хоть волос упадет с его головы под нашей кровлей – знаешь, что будет? Воевода глянет на Розлоги, отомстит за него, нас выгонит на все четыре стороны, а Елену в Лубны возьмет. Что тогда? И против князя пойдешь? На Лубны нападешь? Попробуй, коли хочешь отведать кола, шальная голова!.. Заговаривает ли шляхтич с девкой, нет ли, все равно – как приехал, так и уедет, и все будет спокойно! Сдержись, а не то – ступай откуда пришел, еще беду на нас накличешь!

Казак грыз ус, сопел, но понял, что княгиня говорит правду.

– Они завтра уедут, мать, – сказал он, – я сдержусь, только пусть чернобровая не выходит к ним.

– А тебе что? Чтоб думали, будто я ее взаперти держу? Вот и выйдет, коли я того хочу. А ты тут не командуй, ты здесь не хозяин.

– Не гневайся, княгиня! Коли иначе нельзя, то я буду для них слаще меда. Бровью не поведу, за саблю не схвачусь, хоть бы меня гнев душить стал, хоть бы душа изныла. Пусть будет по-твоему.

– Вот так-то, сокол, торбан возьми, заиграй, спой что-нибудь, на душе и станет легче. Ну, теперь идем к гостям!

Они вернулись в горницу, где князя, не зная, как занимать гостей, все приглашали их быть как дома и кланялись им в пояс. Пан Скшетуский дерзко и гордо взглянул в глаза Богуну, но не нашел в них вызова. Лицо молодого атамана сияло самой добродушной веселостью, которую он с таким искусством напустил на себя, что самый опытный глаз мог бы обмануться. Наместник внимательно рассматривал его, так как раньше в темноте он не успел разглядеть черты его лица. Перед ним стоял стройный как тополь молодец, смуглый, с густыми черными усами, свешивавшимися вниз. Веселость на этом лице пробивалась сквозь украинскую задумчивость, как солнце сквозь мглу. На высокое чело атамана спадали черные кудри, ровно подстриженные над густыми бровями. Орлиный нос, раздувающиеся ноздри и белые зубы, блеск при каждой улыбке, придавали этому лицу несколько хищное выражение; в общем, это был тип украинской красоты – яркой, цветистой, удалой. Необычайно роскошное платье также отличало степного атамана от князей, одетых в полушубки. На Богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и красный кунтуш – цвета эти носили переяславские казаки. С черного шелкового пояса свешивалась богатая сабля, но и сабля, и вся одежда меркли перед богатством заткнутого за пояс турецкого кинжала, рукоятка которого была усеяна сплошь драгоценными камнями, которые так сверкали, что искры сыпались. Человека, одетого так богато, всякий счел бы скорее за панича из высокого рода, тем более что его свободные господские манеры не выдавали его низкого происхождения. Он подошел к пану Лонгину, выслушал историю о предке Стовейке и о трех головах крестоносцев, а затем обратился к наместнику, точно между ними ничего не произошло, и спросил непринужденно:

– Ваша милость, я слышал, из Крыма возвращается?

– Из Крыма, – сухо ответил наместник.

– Был там и я, и хоть не попал в Бахчисарай, все ж думаю, что и там побываю, если оправдаются добрые вести.

– О каких вестях говорит ваша милость?

– Ходят слухи, что если всемилостивейший король начнет войну с тур-чанином, то князь-воевода пойдет огнем и мечом на Крым. От этих вестей радость великая во всей Украине и на Низу, – уж коли под таким вождем не погуляем мы в Бахчисарае, то уж никогда не погуляем!

– Погуляем, видит бог! – откликнулись Курцевичи.

Поручика тронуло уважение, с каким атаман отзывался о князе; он усмехнулся и проговорил более мягким тоном:

– Вашей милости, видно, мало походов с низовцами, которые вас славою покрыли?

– Малая война – малая слава, большая война – большая слава. Конашевич Сагайдачный не на чайках добыл ее, а под Хотинном.

В эту минуту дверь открылась, и в комнату медленно вошел Василий, старший из Курцевичей, которого Елена вела под руку. Это был человек уже пожилых лет, бледный, исхудавший, с аскетическим грустным лицом, напоминавшим иконы византийского письма. Длинные волосы, преждевременно поседевшие от несчастий и болезни, спадали на плечи, вместо глаз зияли две красные глазницы, в руках он держал медный крест, которым начал осенять комнату и всех присутствующих.

– Во имя Бога и Отца, во имя Спаса и Пречистой Девы! – заговорил он. – Если вы апостолы и несете с собой хорошие вести, привет вам в христианском доме.

– Не обессудьте, ваша милость, – шепнула княгиня, – он не в полном уме.

Василий все еще осенял крестом и продолжал:

– Сказано в Посланиях апостольских: «Кто прольет кровь свою за веру, спасен будет; кто отдаст жизнь за земные блага, ради добычи или выгоды – погибнет...» Помолимся! Горе вам, братья! Горе мне, ибо мы воевали из-за Добычи! Боже, милостив, буди нам, грешным! Боже, милостив буди... А вы, мужи, прибывшие издалека, какие вести несете? Апостолы ли вы?

Он умолк и, казалось, ждал ответа; наместник ответил, немного помолчав:

– Далеко нам до такого звания. Мы простые солдаты, готовые умереть за веру.

– Тогда вы будете спасены, – сказал слепой, – но для нас еще не настал час освобождения... Горе вам, братья! Горе мне!

Последние слова он произнес почти со стоном, и такое невыразимое отчаяние отразилось на его лице, что гости не знали, что им делать. Между тем Елена усадила его на стул и, выбежав в сени, вернулась с лютнею в руках.

Тихие звуки раздалась в комнате, и, вторя им, княжна запела молитвенную песню:

И днем и ночью я к Тебе, тоскую,
Взываю, Господи, уйми мои мученья,
Будь милостив ко мне, хотя в грехах живу я,
Услышь моления.

Слепой откинул голову назад и слушал слова песни, которые, казалось, действовали на него, как умиротворяющий бальзам; с лица его понемногу исчезала печать тоски и отчаяния; наконец голова его упала на грудь, и так он оставался – не то во сне, не то в оцепенении.

– Если прекращать пения, он совсем успокоится, – тихо сказала княгиня. Извольте видеть, ваша милость, сумасшествие его состоит в том, что он все ждет апостолов, и кто бы к нам ни приехал, он выходит спрашивать, не апостолы ли...

А Елена продолжала петь:

Дорогу укажи мне! Я из бездны горя
К Тебе, о Господи, взываю, грешник худший,
На жизненных путях – я, как на волнах моря
Корабль заблудший.

Нежный голос ее звучал все сильнее, и с лютней в руках, с глазами, поднятыми к небу, она была так прекрасна, что наместник не мог оторвать от нее глаз. Он засмотрелся на нее, утонул в ней глазами и забыл все на свете.

Только слова княгини заставили его очнуться от восхищения.

– Довольно! Теперь он не скоро проснется. А пока просим, ваши милости, пожаловать к вечеру.

– Просим хлеба-соли отведать!

Пан Розван, как великосветский кавалер, подал руку княгине; видя это, пан Скшетуский сейчас же подошел к княжне Елене. Сердце его растаяло как воск, когда он почувствовал ее руку в своей, глаза метнули искры... и он сказал:

– Уж видно, и ангелы в небе поют не лучше, чем ваць-панна.

– Не грешите, рыцарь, равняя мое пение с ангельским, – ответила Елена.

– Не знаю, грешу ли, но то верно, что я охотно позволил бы себе выжечь глаза, только бы до самой смерти слушать ваше пение. Впрочем, что я говорю? Слепой, я не мог бы видеть вас, что было бы невыносимой мукой...

– Не говорите так, ваша милость. Завтра вы уедете отсюда, завтра все и забудете!

– О, не быть тому! Я так полюбил ваць-панну, что, пока жив, не хочу знать другой любви, а этой не забуду.

При этих словах яркий румянец залил лицо княжны, грудь начала волноваться сильнее. Она хотела ответить, но только зубы дрожали. А пан Скшетуский продолжал:

– Скорей ваць-панна забудет обо мне с тем лихим атаманом, что будет подыгрывать на балалайке ее пению.

– Никогда, никогда! – прошептала девушка. – Но пусть ваць-пан бережется его, он страшный человек.

– Что для меня какой-то казак! Да хоть бы за ним вся Сечь стояла, я для вас на все готов. Вы для меня как сокровище, которому цены нет, мой свет... Но лишь не знаю, есть ли ответ на мою любовь?

Тихое «да» райской музыкой прозвучало в ушах пана Скшетуского; ему сейчас же показалось, что в нем бьется по крайней мере десять сердец; все просветлело в глазах, точно солнечные лучи залили мир; он почувствовал в себе присутствие какой-то неведомой силы, точно крылья за плечами. За ужином несколько раз мелькнуло перед ним лицо Богуна, страшно изменившееся и бледное, но наместник, зная о взаимности Елены, не думал об этом сопернике. «Черт с ним совсем, – думал он. – Пусть только не становится мне поперек дороги – с лица земли сотру!» Мысли его были направлены в иную сторону. Он чувствовал, что Елена сидит так близко к нему, что почти касается плечом его плеча, видел не сходявший с ее лица знойный румянец, видел ее волнующуюся грудь и глаза, то скромно опущенные вниз и накрытые ресницами, то блестящие, как две звезды. Елена, несмотря на гнет Курцевичей, несмотря на то, что жила сиротой, в страхе и печали, все же была украинкой с огненной кровью. Как только пали на нее теплые лучи любви, она сейчас же зацвела, как роза, и проснулась к новой, неведомой жизни. Ее лицо сияло счастьем и отвагой, и их порывы, боровшиеся с девической стыдливостью, отражались на ее щеках прелестным румянцем. Пан Скшетуский просто из кожи вон лез. Пил он напропалую, но мед не действовал на него; он и так был пьян от любви. Он никого уже не видел за столом, кроме своей девушки. Не видел, что Богун все чаще и судорожнее сжимал рукоятку своего кинжала; не слышал, как пан Лонгин рассказал уже в третий раз о предке Стовейке, а Курцевич о своих походах за «турецким добром». Пили все, кроме Богуна, а лучший пример подавала старая княгиня, провозглашая тосты то за здоровье гостей, то за все милостивейшего пана-князя, то, наконец, за господаря Лупула. Была речь и о слепом Василии, о его давнишних рыцарских доблестях, о несчастном походе и теперешнем сумасшествии, которое старший, Симеон, объяснял так:

– Рассудите, ваши милости, как беспокоит малейшая пылинка, если она попадет в глаз; как же куски смолы, дойдя до самого мозга, могли не вызвать его помешательства?

– Да, это весьма деликатный инструмент, – заметил пан Лонгин. Старая княгиня только теперь заметила изменившееся лицо Богуна.

- Что с тобой, сокол?
- Душа болит, мать, – мрачно проговорил он, – но казацкое слово не дым – сдержу...
- Терпи, сынок, магарыч будет.

Ужин кончился, но в ковши то и дело подливали меду. Пришли казачки, которых позвали плясать. Зазвучала балалайка и бубны, и заспанные мальчуганы должны были под них плясать. Немного погодя и молодые Бульги пустились вприсядку. Старая княгиня, взявшись за бока, притопывала на месте и подпевала; видя это, пан Скшетуский тоже пригласил Елену танцевать. Когда он обнял ее руками, ему показалось, что он небо прижал к своей груди. Во время танца ее длинные косы обматывались вокруг его шеи, словно княжна хотела привязать его к себе навсегда. И не выдержал шляхтич: увидев, что никто на них не смотрел, наклонился и изо всей силы поцеловал ее в сладкие уста.

Поздно ночью, оставшись наедине с паном Лонгином в комнате, в которой им были постланы постели, поручик, вместо того чтобы спать, сел на софу и сказал:

- С другим человеком, ваць-пане, поедете вы завтра в Лубны.

Подбиента, который только что кончил молитву, широко, вытаращил глаза и спросил:

- Как же так? Разве ваша милость здесь останется?

– Не я, сердце мое остается, и одно *dulcis recordatio*¹⁸ поедет со мной. Вы видите меня в большом волнении, ибо от томных страстей едва ловлю я воздух губами.

- Так вы влюбились в княжну, ваць-пане?

– Не иначе! И это верно, как то, что я сижу перед вами! Сон бежит от моих глаз, и только вздохнуть могу я, от чего весь могу обратиться в пар. Ваць-пану я говорю это потому, что, имея сердце чувствительное и жаждущее любви, ваць-пан легче поймет мои муки.

Пан Лонгин сам начал тяжело вздыхать в знак того, что любовные муки и ему понятны, и спросил через минуту с грустью:

- А может быть, ваць-пан тоже дал обет целомудрия?

– Вопрос ваць-пана не к делу. Если бы все давали подобные обеты, тогда род человеческий должен был бы прекратиться.

Приход слуги прервал дальнейшую беседу. Это был старый татарин с быстрыми черными глазами, с лицом сморщенным, как сушеное яблоко. Он бросил на Скшетуского многозначительный взгляд и спросил:

- Не надо ли чего вашим милостям? Может быть, меду ковшик на ночь.

- Не надо.

Татарин приблизился к Скшетускому и пробормотал:

- У меня для вельможного пана несколько слов от панны!

– Так говори же! – радостно воскликнул наместник. – Можешь говорить при этом рыцаре: я ему доверил свою тайну.

Татарин вытащил из-за рукава кусок ленты.

– Панна посылает вельможному пану эту перевязь и велела сказать, что любит его всей душой.

Поручик схватил шарф, стал в восторге целовать и, только немного опомнившись, спросил:

- Что она поручила тебе сказать?

- Что любит пана всей душой.

- Вот тебе талер за это! Сказала, значит, что любит меня? – Да.

– Вот тебе еще талер! Да благословит ее Бог! И мне она милее всех на свете. Скажи же ей... Впрочем, подожди; я сам ей напишу. Принеси мне только перо, бумаги и чернил.

- Чего? – спросил татарин.

¹⁸ Сладостное воспоминание (лат.).

– Чернил, перо и бумаги.

– Этого у нас в доме нет. При князе Василии было, было и потом, когда молодые князья учились писать у чернеца; но это уж давно было.

Пан Скшетуский шелкнул пальцами.

– Мосци-пане Подбиипента, нет ли у вас пера и чернил?

Литвин развел руками и устремил глаза к небу.

– Тьфу черт, – выругался поручик, – какая незадача!

Татарин между тем уселся на полу у огня.

– Зачем писать? – сказал он, мешая угли. – Панна пошла спать. А что хотели написать ваша милость, можно завтра сказать.

– Коли так, другое дело. Верный же ты слуга княжны, вижу. На тебе третий талер! Давно служишь?

– Хо, хо! Четырнадцать лет будет, как меня князь Василий в полон взял, и с той самой поры я верно ему служил, а когда он уезжал неведомо куда, то ребенка Константину оставил, а мне сказал: «Чехлы! И ты не оставишь девочку и будешь беречь ее, как зеницу ока». Лаха иль Алла!

– Так ты и делаешь?

– Так я делаю и смотрю.

– Что же ты видишь? Как живет здесь княжне?

– Недоброе дело задумали с нею! Хотят ее отдать Богуну, псу проклятому.

– О, тому не бывать! Есть кому заступиться за нее!

– Да! – сказал старик, переворачивая пылающие головни. – Они хотят отдать ее Богуну, чтоб он взял и понес ее, как волк ягненка, а их в Розлогах оставил; Розлоги ведь ее после князя Василия, не их. А он, Богун, готов это сделать: у него в камышах больше золота и серебра, чем песку в Розлогах; но она ненавидит его с той поры, когда он при ней человека убил. Между ними пала кровь и ненависть выросла. Един Бог!

Наместник в ту ночь не мог уснуть. Он ходил по комнате, смотрел на луну и обдумывал разные планы. Он теперь понял игру Булыг. Если бы на княжне женился какой-нибудь шляхтич, он бы тотчас напомнил насчет Розлог – и был бы прав, так как они принадлежали ей.

Кто знает, может быть, он потребовал бы еще и отчета в опеке? По этой-то причине и без того оказаченные Булыги решили выдать девушку за казака. При одной мысли об этом пан Скшетуский сжимал кулаки и хватался за рукоять сабли. Он решил разрушить всю эту махинацию и чувствовал себя в силах это сделать. Ведь опекуном Елены должен быть князь Еремия, во-первых, потому, что Розлоги были подарены старому Василию Вишневецкими, во-вторых, сам Василий из Бара писал князю и просил его быть опекуном дочери. Только обилие общественных дел, войны и крупные предприятия помешали воеводе озаботиться насчет опеки; но достаточно будет только напомнить ему, и он тотчас же примется за дело.

Серело уже, когда пан Скшетуский бросился на постель. Спал он крепко и проснулся наутро с готовым решением. Они с паном Лонгином торопливо оделись, так как возы уже были готовы, а солдаты пана Скшетуского сидели на лошадях. В гостиной посол подкреплялся медом в обществе старой княгини и Курцевичей. Богуна не было; неизвестно, спал ли он еще, или уехал.

Скшетуский поклонился княгине и сказал:

– Мосци-пани, *tempus fugit*¹⁹, скоро нам садиться на коней, но прежде чем мы от души поблагодарим вас за радушный прием, имею я важное дело, о котором хотел бы переговорить с вами, мосци-пани, и вашими сыновьями наедине.

¹⁹ Время бежит (*лат.*).

На лице княгини выразилось удивление; она посмотрела на сыновей, на посла и на пана Лонгина, точно надеясь от них узнать, в чем дело, и с некоторым беспокойством в голосе сказала:

– Рада служить вашей милости!

Посол хотел было встать, но она ему не позволила, и они перешли в сени, украшенные оружием и сбруей. Молодые князья встали в ряд позади матери, которая, стоя против Скшетуского, спросила:

– О каком деле говорить хотите, ваць-пане? Наместник уставился на нее суровым взглядом и сказал:

– Простите, пани, и вы, молодые князья, что поступаю вопреки обычаям, и вместо того, чтобы говорить через почетных послов, говорю сам за себя. Но иначе быть не может, ибо так сложились дела. А потому без дальних проволочек я приношу вам, ваць-пани, и их милостям князьям, как опекунам княжны Елены, покорную просьбу отдать мне княжну Елену в жены.

Если бы в эту минуту, среди зимы, гром грянул над Розлогами, он не так бы ошеломил княгиню и ее сыновей, как слова наместника. Долгое время они с изумлением смотрели на пана Скшетуского, который стоял перед ними, спокойный и гордый, точно не просил, а приказывал, и они не могли найти слов для ответа. Княгиня переспросила:

– Как?.. Ваць-пан – руку Елены?

– Я, ваць-пани, и это мое твердое намерение. Опять минута молчания.

– Я жду ответа, пани.

– Извините, пане, – ответила наконец княгиня, придя в себя, и голос ее стал сухим и резким, – предложение такого кавалера честь немалая для нас, но не может того быть, ибо Елену мы обещали уже другому.

– Рассудите, ваць-пани, как заботливая опекунша, не было ли то против воли княжны и не лучше ли я того, кому вы ее обещали?

– Мосци-пане, кто лучше, мне судить. Вы, может, и лучше, нам все равно, мы вас не знаем.

Наместник выпрямился еще надменнее, и взгляд его стал острым и холодным, как кинжал.

– Зато я вас знаю, изменники! – гаркнул он. – Вы хотите отдать родственницу холопу, лишь бы он оставил вас в незаконно захваченном владении.

– Сам ты изменник! – крикнула княгиня. – Так ты платишь за гостеприимство, так-то отблагодарил? О змея! Кто ты таков? Откуда взялся?

Молодые Курцевичи стали сжимать кулаки и поглядывать на оружие, висевшее на стене. Наместник воскликнул:

– Нехристи, вы отняли вотчину у сироты! Ну да ничего. Через день князь будет знать обо всем.

Услыхав это, княгиня бросилась к стене, схватила рогатину и пошла с нею на пана наместника. Князья, схватив кто что успел – нож, кистень или саблю, окружили его полукругом, словно стадо разъяренных волков.

– К князю поедешь? – кричала княгиня. – А уверен ли ты в том, что выйдешь отсюда живым? Что это не последний твой час?

Скшетуский скрестил руки на груди и глазом не моргнул.

– Я княжеский посол, возвращаюсь из Крыма, – сказал он, – и если тут прольется хоть одна капля моей крови, через три дня здесь и пепла не останется, а вы все сгниете в лубенских тюрьмах. Есть ли на свете сила, которая могла бы вас охранить? Не грозите, я вас не боюсь!

– Пусть сгнием, но сперва ты погибнешь!

– Если так – бей! Вот моя грудь!

Князя с матерью во главе держали оружие острием к груди наместника, но точно какие-то тайные цепи сковали их руки. Сопя и скрежеща зубами, они метались в бессильной ярости, но ударить не решался ни один. Их обезоруживало страшное имя Вишневецкого.

Наместник был господином положения.

Бессильный гнев княгини вылился потоком оскорблений:

– Пройдоха! Гольш! Княжеской крови захотелось? Ну, этого подождешь! Любому отдам, только не тебе! Этого и сам князь велеть не может.

Пан Скшетуский ответил:

– Недосуг мне свою родословную рассказывать, но думаю, что ваше княжество могло бы нести за моим шляхетством меч и щит. Все же, если холоп был для вас хорош, я буду еще лучше. А что до вотчины моей, так и она может с вашей потягаться, а если вы говорите, что не отдадите мне Елену, так слушайте, что я вам скажу: я оставлю вам Розлоги и не буду требовать отчета по опеке.

– Не дари того, что не твое!

– Я не дарю, только обещаю на будущее и скрепляю рыцарским словом. Теперь выбирайте: или отчет по опеке князю и вон из Розлог, или отдать мне Елену и удержать все...

Рогатина мало-помалу выскальзывала из рук княгини. Наконец она со звоном упала на пол.

– Выбирайте, – повторил пан Скшетуский. – Aut pacem, aut bellum²⁰!

– Счастье твое, – уже мягче сказала княгиня, – что Богун поехал на охоту с соколами: не хотел он глядеть на ваць-пана – еще вчера вас подозревал! Иначе не обошлось бы без кровопролития.

– Мосци-пани, и я саблю ношу не для того, чтоб она у пояса висела.

– Но рассудите, ваша милость, прилично ли такому кавалеру, войдя в дом гостем, так приставать к людям и девчонку брать силой, словно из турецкой неволи?

– Прилично, если против воли хотели ее отдать холопу!

– Не говорите так о Богуне! Хотя он не знает, кто его родители, – он воин в душе, славный рыцарь, нам с детства знаком и точно родной в нашем доме. И ему одинаково больно: отнять ли у него девушку, или ножом его пырнуть.

– Мосци-пани, мне пора в путь! А потому не осудите, если я еще раз повторю: выбирайте!

– А что вы, сынки, ответите на покорную просьбу этого кавалера? Булги смотрели друг на друга, подталкивали один другого локтем и молчали. Наконец Симеон пробормотал:

– Прикажешь бить, мать, – будем бить, прикажешь отдать девушку – отдадим.

– Бить плохо и отдать плохо... Потом она обратилась к Скшетускому:

– Ваць-пан нас совсем к стене прижал! Богун человек шальной, способен на все. Кто нас охранит от его мести? Сам погибнет от руки князя, но нас сначала погубит. Что нам делать?

– Ваша забота.

Княгиня еще помолчала.

– Слушайте, мосци-кавалер! Все это должно остаться в тайне. Богуна мы спровадим в Переяслав, сами с Еленой приедем в Лубны, а вы упрсите князя прислать нам охрану в Розлоги. У Богуна поблизости полтора человека, часть их даже здесь – отобьют. Иначе быть не может. Поезжайте, никому не доверяйте тайны и ждите нас.

– Чтобы вы изменили мне?

– Если бы мы могли! Но мы не можем – сами видите. Дайте слово до времени сохранить тайну.

– Даю. А вы отдадите мне Елену?

²⁰ Или мир, или войну! (лат.).

– Не можем не дать, хотя нам и жаль Богуна...

– Тыфу ты, мосци-Панове! – Наместник вдруг обернулся к князьям. – Четверо вас, таких дубов, а вы одного казака боитесь, хотите взять его изменой. Хоть я должен благодарить вас, а все же скажу: не пристало это благородной шляхте!

– Вы не мешайтесь в это дело, ваць-пане! – закричала княгиня. – Не ваше дело, что нам делать. Сколько людей у вас против его полутораста казаков? Защитите вы нас? Защитите Елену, которую он готов похитить силой? Не ваше это дело. Поезжайте себе в Лубны, а мы уж потом привезем вам туда Елену.

– Делайте, что хотите, только одно я вам скажу: если княжна будет хоть чем-нибудь обижена, – горе вам!

– Не говори нам таких слов, чтобы нас до крайности не довести.

– Потому что вы хотите насильно выдать ее, да и теперь, продавая ее за Розлоги, подумали ли вы: по мысли ли ей моя особа?

– Что ж, спросим ее в вашем присутствии, – сказала княгиня, сдерживая гнев, который снова закипел в ней, – она прекрасно чувствовала презрение в словах наместника.

Симеон пошел за Еленой и вскоре появился в дверях вместе с нею.

Среди злобы и проклятий, которые, казалось, еще висели в воздухе, как отголоски стихающей бури, среди нахмуренных бровей, разъяренных взглядов и суровых лиц ее прекрасное лицо блеснуло, как солнце после грозы.

– Мосци-панна, – мрачно промолвила княгиня, указывая на Скшетуского, – если на то твоя воля – вот твой будущий муж.

Елена побледнела, как стена, вскрикнула, закрыла глаза руками и потом вдруг протянула их к Скшетускому.

– Правда ли это? – прошептала она в упоении.

Час спустя отряд посла и наместника не спеша подвигался лесной дорогой по направлению к Лубнам. Скшетуский с паном Лонгином Подбиентой ехали во главе, а за ними длинной лентой тянулись посольские возы. Наместник весь был погружен в невеселые думы и тоску, как вдруг его внимание привлекли слова песни:

Тужу, тужу, сердце болит...

В глубине леса на узкой тропинке показался Богун. Конь его был весь в пене и грязи.

Видно, казак, по своему обыкновению, поскакал в степь, в лес, чтобы упиться воздухом, затеряться вдали, забыться и унять то, что грызло душу.

Теперь он возвращался в Розлоги.

Глядя на его великолепную, поистине рыцарскую фигуру, которая только мелькнула вдали и скрылась, пан Скшетуский подумал невольно и даже пробормотал под нос:

– А ведь это счастье, что он убил при ней человека!

Вдруг какое-то сожаление сдавило его сердце. И Богуна было ему как будто жаль, а в особенности того, что он, связанный словом княгини, не мог теперь же пустить вдогонку ему своего коня и сказать: «Мы любим одну и ту же, одному из нас не жить на свете. Вынь-ка саблю из ножен, казак!»

V

Прибыв в Лубны, пан Скшетуский не застал там князя: он поехал к пану Суффчиньскому, своему бывшему придворному, в Сенчи на крестины, а вместе с ним выехала княгиня, две панны Збараские и много придворных. Князю дали знать в Сенчи о возвращении наместника из Крыма и о прибытии посла, а пока пана Скшетуского радостно встречали после долгой разлуки его товарищи, особенно пан Володыевский, который после последнего поединка был лучшим другом нашего наместника. Этот кавалер отличался тем, что постоянно был влюблен. Убедившись в непостоянстве Ануси Божобогатой, он отдал свое чувствительное сердце Анеле Леньской, тоже фрейлине княгини, а когда и та, как раз месяц тому назад, вышла замуж за пана Станишевского, Володыевский, чтобы утешиться, стал вздыхать по старшей княжне Збараской, Анне, племяннице князя Вишневецкого.

Сам он хорошо понимал, что метит очень высоко, и не мог обольщать себя никакой надеждой, тем более что к княжне уже прибыли сваты, пан Бодзиньский и пан Ляссота, от имени пана Пишемского, воеводича Ленчипского. Несчастный Володыевский рассказывал про свое новое горе нашему наместнику, посвящая его во все придворные тайны, которые пан Скшетуский слушал одним ухом; ум его и сердце были заняты совсем другим. Если бы не та душевная тревога, которою обыкновенно сопровождается всякая любовь, даже удачная, пан Скшетуский считал бы себя счастливым, возвратившись после долгого отсутствия в Лубны, где его вновь окружали знакомые лица и тот шум солдатской жизни, к которому он давно привык. Лубны, пышная панская резиденция, ничем не уступали всем резиденциям «королевичей», но отличались от них тем, что жизнь в них была суровая – настоящая лагерная жизнь. Кто не знал тамошних обычаев и порядков, тот, приехав даже в самое спокойное время, мог думать, что готовится какая-нибудь война. Солдат там брал верх над дворянином, железо – над золотом, звук военных труб над шумом увеселений и пиршеств. Всюду царил образцовый порядок, всюду сновали рыцари разных хоругвей: панцирных, драгунских, казацких, татарских, валашских, под которыми служило не только все Заднепровье, но и шляхта из разных мест Речи Посполитой. Кто хотел воспитаться в настоящей военной школе, тот шел в Лубны; там, рядом с русинами, можно было видеть и Мазуров, и литвинов, и малополян, даже пруссаков. Пешие полки и артиллерия – так называемый «огненный народ» – состояли преимущественно из отборных немцев, нанятых за высокую плату; в драгунах служили главным образом местные жители, литовцы – в татарских хоругвях, а малополяне предпочитали панцирный отряд. Князь не давал изнежиться своему рыцарству, а потому в лагере было вечное движение. Одни полки выходили на смену в станицы и «полянки», другие вступали в столицу; по целым дням происходило ученье и смотры. Порой, хотя татары и сидели смирно, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам, проникнуть туда, куда еще никто не проникал, и распространить славу своего имени. Так, прошлой осенью он прошел левым берегом Днепра до Кудака, где комендант, пан Гродзицкий, оказал ему царские почести; потом спустился берегом, мимо порогов до Хортицы и на Кучкасовом урочище велел насыпать большой холм в память того, что никто еще не заходил так далеко в эту сторону²¹.

Пан Богуслав Машкевич, хороший солдат, хоть и молодой, и ученый, описавший и этот, и другие походы князя, рассказывал о нем Скшетускому чудеса, что подтверждал и пан Володыевский. Видели они пороги и дивились им, в особенности страшному Ненасытцу, который ежегодно, как в древности Сцилла и Харибда, поглощал несколько десятков человек. Потом они направились на восток, в спаленные степи, где масса тлеющей травы не позволяла коннице двигаться – приходилось обматывать лошадям ноги кожей.

²¹ Это слова Машкевича, который мог и не знать о том, что Самуил Зборовский был в Сечи. – *Примеч. автора.*

Там они встретили множество гадов и громадных змей в десять локтей длины и толщиной в руку. По дороге на одиноких дубах они вырезали *pro aeterna rei memoria*²² гербы князя и наконец зашли в такую степную глушь, где и следов человека не было видно.

– Я уже думал, – говорил ученый, пан Машкевич, – что нам по примеру Улисса придется спуститься в Аид.

А пан Володыевский заметил:

– Солдаты из хоругви пана стражника ЗамоЙского, которая шла впереди, божились, что видели тот предел, которым кончается *orbis terrarum*²³.

Наместник в свою очередь рассказывал товарищам о Крыме, где провел почти полгода в ожидании ответа его ханского величества, о тамошних городах, уцелевших с давних времен, о татарах, об их военном могуществе и, наконец, о том страхе, в каком они жили при одном известии о нападении на Крым всех сил Речи Посполитой.

Разговаривая так каждый вечер, они ожидали прибытия князя. Между тем наместник представил своим ближайшим товарищам пана Лонгина Подбиенту, который, будучи человеком нежной души, сразу снискал всеобщее расположение, а выказав при упражнениях с мечом сверхчеловеческую силу, приобрел и всеобщее уважение. Он уже рассказывал то тому, то другому о предке Стовейке и о трех срубленных головах, промолчал только о своем обете, не решаясь стать предметом шуток. Особенно понравились они друг другу с паном Володыевским, так как у обоих были чувствительные сердца; через несколько дней они ходили уже вместе на крепостной вал вздыхать, один – по своей недостигаемой звездочке, то есть княжне Анне, другой – по незнакомке, от которой его отделяли три обещанные головы.

Володыевский тянул пана Лонгина в драгуны, но литвин твердо решил записаться в ряды панцирных, чтобы служить под начальством Скшетуского; с невыразимой радостью услышал он в Лубнах, что все считают пана Скшетуского рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. А тут еще в хоругви, где пан Скшетуский был поручиком, открывалась вакансия после пана Закшевского, по прозвищу «*Miserere mei*»²⁴, который две недели уже лежал безнадежно больной, так как у него открылись от сырости все раны. К любовным заботам наместника прибавилась еще и печаль: потеря старого товарища и испытанного друга; он целые дни ни на шаг не отходил от его изголовья, утешал его, как умел, и поддерживал в нем надежду на то, что они еще совершат вместе немало походов.

Но старик не нуждался в утешении. Он весело умирал на своем твердом рыцарском ложе, покрытом конской кожей, и почти с детской улыбкой поглядывал на распятие, висевшее над кроватью. Скшетускому он отвечал:

– *Miserere mei*, мосци-поручик, – я уже иду за небесными лаврами. Тело мое так продырявлено ранами, что я боюсь, пустит ли меня святой Петр, который должен блюсти пристойность в раю, в такой изодранной одежде. Но я ему скажу: «Святой Петр, заклинаю тебя Малховым ухом, не отринь меня: ведь это нехристи так искалечили мне телесную одежду... *miserere mei*! А случится архангелу Михаилу вновь воевать с адскими силами, старый Закшевский еще пригодится!»

И поручик, хотя сам, как солдат, много раз глядел смерти в глаза, не мог без слез слушать слов старика, смерть которого была похожа на закат погожего дня.

Однажды утром загудели колокола во всем лубенских костелах и церквах и возвестили кончину пана Закшевского. В этот же день князь приехал из Сенчи, а с ним паны Бодзиньский и Ляссота, вся свита, множество шляхты – в нескольких десятках колясок, так как съезд у пана Суффчиньского был огромный. Князь устроил роскошные похороны, желая почтить

²² Вечной памяти ради (лат.).

²³ Круг земель (лат.).

²⁴ «Помилуй мя» (лат.).

этим заслуги умершего и показать, как он любит настоящих рыцарей. В печальном кортеже участвовали все полки, стоящие в Лубнах; с валов стреляли из пушек и ружей. Конница шла от замка до кафедрального собора в боевом порядке, но со свернутыми знаменами, за нею пешие полки с ружьями вверх прикладами. Сам князь, весь в трауре, ехал за гробом в золотой карете, запряженной восемью белыми как снег конями с гривами и хвостами, выкрашенными в темно-красный цвет, и с черными страусовыми перьями на головах. Перед каретой шел отряд янычар, личной стражи князя, за коляской – пажи, одетые по-испански, на прекрасных лошадях, далее высшие придворные чины, дворяне, свита и, наконец, гайдуки. Процессия остановилась прежде всего у дверей костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, начинающейся словами: «Куда так спешишь, мосци-пане Закшевский?» Потом говорило еще несколько человек, среди них и пан Скшетуский, как начальник и приятель покойного. Потом тело внесли в костел, и здесь говорил красноречивейший из проповедников, ксендз-иезуит Муховецкий, так выпренно и красиво, что сам князь заплакал. Он обладал сердцем мягким как воск и был истинным отцом своим солдатам. Он завел повсюду железную дисциплину, но в щедрости и доброте, какими пользовались его подчиненные вместе с их женами и детьми, никто с ним не мог равняться. Немилосердный и страшный в усмирении бунтов, он был истинным благодетелем не только шляхты, но и всего своего народа. Когда в сорок шестом году саранча уничтожила все посевы у чиншевиков, он простил им подати за целый год, подданным велел выдавать хлеб из своих кладовых, а после пожара в Хороле всех жителей сгоревшего города два месяца кормил на свой счет. Арендаторы и подстаросты в его экономиях дрожали при мысли, что до сведения князя дойдет слух о их злоупотреблениях или несправедливостях. Опека князя над сиротами была делом настолько верным, что в Заднепровье их иначе не называли, как «княжьими дытынами». Ими занималась сама княгиня Гризельда с помощью отца Муховецкого. Во всех княжеских землях царили порядок, достаток, справедливость и спокойствие, но вместе с тем и страх, потому что при малейшем сопротивлении гнев князя не знал границ: так в его натуре великодушие уживалось с суровостью. Но в те времена и в тех краях только суровостью можно было поддерживать жизнь и труд, и только благодаря ей вырастали города и села, земледелец брал верх над гайдамаком, купец спокойно мог провозить свои товары, колокола спокойно призывали верующих на молитву, враг не смел переступить границы, толпы разбойников погибали на колах или превращались в рядовых солдат, а пустынный край расцветал.

Дикому краю и диким жителям такая рука была необходима; в Заднепровье шли из Украины самые беспокойные элементы, сбегались крестьяне, которых манили плодородные земли, преступники, бежавшие из тюрем, одним словом, как сказал Ливий: «*Pastorum conveniuntque plebs transfuga ex suis populis*»²⁵. Удержать их в повиновении, превратить в спокойных поселян и вдвинуть в границы оседлой жизни мог только такой лев, при голосе которого все дрожало.

Пан Лонгин Подбипента, увидав в первый раз князя на похоронах, не верил собственным глазам. Он был так наслушан о его славе, что представлял его себе каким-то великаном, на голову выше всякого другого человека, а князь был роста небольшого и довольно худ. Он был еще молод, ему шел тридцать шестой год, но на лице его были следы ратных трудов. Если в Лубнах он жил как настоящий король, то во время многочисленных войн и походов он делил невзгоды со всеми, питался черным хлебом и спал на земле, на войлоке; а так как ему пришлось провести в лагере большую половину жизни, то это наложило на его лицо отпечаток. Но лицо его при первом же взгляде выдавало необыкновенного человека. На нем была запечатлена железная, непреклонная воля, величие, перед которым всякий невольно должен был склонять голову. Видно было, что этот человек знает свое могущество и величие, и если бы завтра возложили корону на его голову, он не был бы ни удивлен, ни подавлен ее тяжестью. Глаза у него были большие, почти ласковые, но в них, казалось, дремали молнии; горе тому,

²⁵ «Толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен» (лат.).

кто разбудит их. Никто не мог вынести спокойно блеска этого взгляда; случалось, что послы, опытные придворные, представ перед князем Еремией, смущались и не могли начать речи. Он, впрочем, был настоящим королем в своем Заднепровье. Из его канцелярии выходили привилегии и приказы: «Мы, Божией милостью, князь и господин...» и т. д. Немногих панов он считал равными себе, князья из владетельных родов служили при его дворе. Таким был в свое время и отец Елены, Василий Булыга-Курцевич, чей род выводили, как было упомянуто выше, от Кориата, а в действительности он происходил от Рюрика.

В князе Еремии было что-то, что, помимо его прирожденной доброты, держало людей на расстоянии. Любя солдат, он бывал фамильярен с ними, но с ним никто не смел фамильярничать. И все же рыцарство, если бы он приказал ему броситься вниз с крутого днепровского берега, сделало бы это без колебания.

От матери, валашки, он унаследовал белую кожу, в которой была белизна раскаленного железа, дышащего огнем, и черные как вороново крыло волосы, выбритые сзади, которые спереди падали кудрями на брови и скрывали половину лба. Одевался он по-польски и не особенно заботился о своем костюме, только в торжественных случаях надевал роскошную одежду, но тогда уж он весь сиял от золота и драгоценных камней.

Пан Лонгин через несколько дней присутствовал при таком торжестве, когда князь принимал посла пана Розвана Урсу. Аудиенция происходила в так называемой «небесной» зале, так как на ее потолке данцигский художник Гельм нарисовал звездное небо. Князь восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком кресле или, скорее, на троне, подножие которого было обито золоченой жстью; позади него стояли ксендз Муховецкий, секретарь, маршал двора, князь Воронич, пан Богуслав Машкевич, далее пажи и двенадцать драбантов с алебардами, одетых по-испански; зала была наполнена рыцарями в роскошных одеждах. Пан Розван от имени господаря просил князя использовать влияние и страх, наводимый его именем на хана, на то, чтобы тот запретил буджакским татарам, ежегодно опустошающим Валахию, делать нападения. Князь отвечал на это прекрасной латынью, что буджакские татары не очень слушаются и самого хана, но что он все-таки в апреле ждет Чауса-Мирзу, ханского посла, и напомнит ему об обидах, чинимых Валахии.

Пан Скшетуский еще ранее отдал отчет в своем посольстве и обо всем, что слышал о Хмельницком и его бегстве в Сечь. Князь решил двинуть несколько полков к Кудак, но не придавал большого значения всему этому делу. И так как ничто, казалось, не угрожало спокойствию и могуществу Заднепровского княжества, в Лубнах начались пиршества и увеселения, отчасти по поводу пребывания валашского посла, отчасти благодаря официальному сватовству панов Бодзиньского и Ляссоты от имени воеводича Пшиемского, которые в ответ на сватовство получили уже благоприятный ответ от князя и княгини Гризельды.

Только один низкорослый пан Володыевский страдал от этого, а когда Скшетуский пробовал утешать его, он отвечал:

– Тебе хорошо: ты знаешь, что, если захочешь, Ануся Божобогатая не минует твоих рук! Она тут о тебе все время вспоминала! Сначала я думал, что она только хотела заставить ревновать Быховца, но теперь вижу, что она только к тебе питает нежные чувства!

– Что мне Ануся! Вернись к ней, – *pop prohibeo*²⁶, но о княжне Анне и думать перестань, – это то же самое, что мечтать прикрыть шапкой жар-птицу в ее гнезде.

– Знаю я, что она жар-птица, и потому от скорби по ней мне уж, видно, умереть придется.

– И жив будешь, и влюбишься снова, только не вздумай в княжну Барбару, не то ее у тебя другой воеводич из-под носа уберет.

– Разве сердце – раб, которому можно приказывать? Разве глазам запретишь смотреть на существо столь чудное, как княжна Барбара, чей вид тронет даже дикого зверя.

²⁶ Не возбраняю (*лат.*).

– Вот так удружил! – воскликнул пан Скшетуский. – Вижу, ты и без моей помощи утешься! Но я тебе повторяю: вернись к Анусе, с моей стороны никаких препятствий не будет.

Но Ануся в самом деле вовсе не думала о Володыевском. Зато ее раздражало, интересовало и сердило равнодушие пана Скшетуского, который, вернувшись после столь долгого отсутствия, почти ни разу на нее не взглянул. По вечерам, когда князь с лучшими своими офицерами приходил в гостиную княгини, чтобы развлечься разговором, Ануся выглядывала из-за плеч своей госпожи (княгиня была высокого роста, Ануся низкого) и сверлила черными глазами лицо наместника, стараясь разгадать непонятную для нее загадку. Но глаза Скшетуского, как и мысли его, блуждали в другой стороне, а когда он взглядывал на девушку, то взор его был так холоден и задумчив, точно он смотрел совсем не на ту, кому пел когда-то:

Как татарская орда,
Ты в полон берешь сердца...

«Что с ним сделалось?» – спрашивала у себя избалованная вниманием фаворитка всего двора и, топая крохотной ножкой, давала себе слово разузнать, в чем дело. Она вовсе не любила Скшетуского, но, привыкнув к победам, не могла перенести мысли, что на нее не обращают внимания, и от одной злости готова была сама влюбиться в дерзкого.

И вот однажды, когда она бежала с мотками пряжи для княгини, она встретила Скшетуского, выходявшего из княжеской спальни. Она налетела на него, как буря, почти столкнулась с ним грудью и, внезапно попятившись, вскрикнула:

– Ах, как я страшно испугалась! Добрый день ваць-пану!

– Добрый день, панна Анна! Разве я такое чудовище, что мог перепугать вас?

Девушка стояла, опустив глаза, и крутила пальцами свободной руки конец своей косы; переступая с ножки на ножку, она с притворным смущением сказала:

– О, нет, нет! Совсем нет... вот ей-богу!..

Она посмотрела на поручика и сейчас же опустила глаза.

– За что ваць-пан на меня сердится?

– Я? А разве панне Анне есть дело до моего гнева?

– Да, правду сказать, – нет. Есть о чем беспокоиться! Может быть, ваць-пан думает, что я сейчас заплачу? Пан Быховец любезнее...

– Если так, то мне ничего не остается, как уступить место пану Быховцу и скрыться с глаз панны Анны!

– Разве я удерживаю?

При этих словах Ануся загородила ему дорогу.

– Так вы из Крыма вернулись? – спросила она.

– Из Крыма.

– А что вы привезли из Крыма?

– Привез пана Подбиенту. Ведь панна Анна видела его? Очень милый человек и степенный кавалер.

– Конечно, милее ваць-пана! А зачем он сюда приехал?

– Чтобы дать панне Анне случай испробовать на ком-нибудь свою силу. Но я советую поискуснее браться за дело, ибо знаю одну тайну этого кавалера, в силу которой он непобедим... И даже панна Анна с ним ничего не поделает.

– Почему же он непобедим?

– Он не может жениться!

– А мне какое дело? А почему он не может жениться? Скшетуский наклонился к уху девушки, но сказал громко и отчетливо:

– Дал обет целомудрия.

– Ваць-пан неумен! – воскликнула Ануся и тотчас же вспорхнула, как испуганная птица.

Но в тот же вечер она впервые внимательно посмотрела на пана Лонгина. Гостей в этот день было немало, князь давал прощальный пир пану Бодзиньскому. Наш литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, имел вид очень представительный, тем более что место его чудовищного «сорвикапюшона» заняла легкая кривая сабля в золотистых ножнах.

Глазки Ануси стреляли в пана Лонгина отчасти с умыслом, назло пану Скшетускому. Наместник и не заметил бы этого, если бы не Володыевский, который толкнул его локтем и сказал:

– Пусть меня в плен возьмут, если Ануся не пленена этой жердью литовской!

– Скажи это ему самому.

– И скажу! Отличная пара из них выйдет.

– Он ее будет носить вместо пряжки у жупана: в самый раз придется.

– Или вместо пера у шапки. Володыевский подошел к литвину.

– Мосци-пане, – сказал он, – недавно вы прибыли сюда, а уж видно – из молодых, да ранний.

– А это почему, братец мой благодетель? Почему?

– А потому, что уж вскружили голову самой красивой девушке из придворных.

– Благодетель мой! – сказал пан Подбипента, молитвенно сложив руки. – Что вы только говорите?

– Взгляните, ваць-пан, на панну Анусю Божобогатую, в которую мы все тут влюблены, – она глаз с вас не сводит. Смотрите только, как бы она вас с носом не оставила, как всех нас.

Сказав это, Володыевский повернулся на каблуках и отошел, оставив пана Лонгина в изумлении. Он не смел сразу посмотреть в сторону Ануси и только спустя некоторое время бросил на нее как бы нечаянный взгляд и задрожал. Из-за плеча княгини Гризельды с упорным любопытством глядела на него пара блестящих глаз.

«Ара ге, satanas!»²⁷ – подумал литвин и, зардевшись, как школьник, убежал в другой угол залы.

Но искушение было сильно. Бесенок, выглядывавший из-за плеч княгини, был так прелестен, глазки горели так ярко, что пана Лонгина так и тянуло посмотреть на него еще хоть раз. Но вдруг он вспомнил свой обет, очам его предстал «Сорвикапюшон» – предок Стowejко Подбипента и три головы... Страх объял пана Лонгина. Он перекрестился и в этот вечер не взглянул больше.

Зато на другой день рано утром он пришел в квартиру Скшетуского.

– Скоро мы тронемся, пан наместник? Что ваць-пан слышал насчет войны?

– Что это ваць-пану приспичило? Будьте терпеливы, пока не записаны под хоругвь!

Пан Подбипента не был еще записан на место покойного Закшевского. Он должен был ждать, пока пройдет три месяца, а это должно было наступить первого апреля.

Но так как ему действительно приспичило, то он продолжал спрашивать наместника:

– А его светлость князь ничего не говорил касательно этого предмета?

– Ничего. Король, говорят, до конца дней не перестанет думать о войне, но Речь Посполитая ее не хочет.

– В Чигирине говорили, что нам грозит казацкое восстание.

– Видно, ваць-пану выполнять обет стало не под силу. Что касается восстания, то знайте, что раньше весны его не будет, хоть зима сейчас и легкая, а все ж зима есть зима. У нас теперь только пятнадцатое февраля, морозы могут еще наступить, а казак не двинется в поле, пока

²⁷ «Отыди, Сатана!» (греч.)

земля не отгадет так, чтоб можно было делать окопы. Казаки за валом дерутся страшно, а в открытом поле не умеют.

– Значит, надо ждать даже казаков?

– Обсудите и то, что если бы во время восстания ваць-пан нашел свои три головы, то неизвестно, будете ли вы освобождены от обета. Крестоносцы или турки – дело другое, а тут, так сказать, дети единой матери!

– О боже великий! Задал мне ваць-пан задачу. Вот беда! Пусть же ксендз Муховецкий разрешит мои сомнения, иначе у меня не будет ни минуты покоя.

– Конечно, разрешит, так как он человек ученый и благочестивый, но только уж, наверное, он скажет вам то же самое: *bellum civile*²⁸ – война меж братьями.

– А если восставшим придет на помощь чужая сила?

– Тогда поле – ваше. А теперь я одно посоветую ваць-пану: ждите и будьте терпеливы.

Но пан Скшетуский сам не умел следовать этому совету. Его охватывала все большая тоска, надоедали придворные торжества и лица, на которые прежде он так любил смотреть. Наконец пан Розван Урсу и паны Бодзиньский и Ляссота уехали, и после их отъезда все успокоилось. Жизнь потекла однообразно. Князь всецело ушел в рассматривание отчетов по управлению его огромными имениями и каждое утро сидел, запершись в своем кабинете, с управляющими, приезжавшими со всей Руси и из Сандомирского воеводства, даже отложил смотры и ученья. Шумные офицерские попойки, где велись разговоры о будущих войнах, страшно утомляли пана Скшетуского, и он с ружьем за плечами убегал к Солонице, где некогда Жолкевский так беспощадно разгромил Лободу, Наливайку и Кремпского. Следы этой битвы стерлись и в памяти людей, и на самом поле. Только иногда земля извергала из своего лона побелевшие кости, а за рекой возвышалась насыпь, за которой так отчаянно защищались запорожцы Лободы и вольница Наливайки; но и эта насыпь заросла густым кустарником. Туда и скрывался Скшетуский от придворного шума и, вместо того чтобы стрелять птиц, отдавался своим думам; там пред взором его души вставал образ любимой им девушки; там среди мглы, шума травы и грусти этих мест он находил облегчение в своей тоске... Но потом начались обильные дожди, предвещавшие весну.

Солоница превратилась в непроходимое болото, нельзя было даже выйти на улицу, наместник лишился и того удовольствия, которое находил в одиноких прогулках. Вместе с тем росло и его беспокойство. Сначала он надеялся, что княгиня с Еленой, если им удастся спровадить Богуна, приедут в Лубны, а теперь и эта надежда угасла. Ненастье испортило все дороги, степь на несколько миль, по обоим берегам Сулы, превратилась в огромное болото, и чтобы проехать по ней, надо было ждать, пока ее высушат лучи горячего весеннего солнца. Все это время Елена должна была оставаться под опекой людей, которым Скшетуский не верил, – в настоящей волчьей берлоге, среди людей диких, неотесанных и не расположенных к самому Скшетускому. Правда, ради собственной выгоды они должны были сдержать данное слово, и другого выхода у них не было; но кто мог предвидеть, что они придумают, на что решатся, особенно под гнетом страшного атамана, которого они, очевидно, и любили, и боялись в одно и то же время? Ему нетрудно было силой заставить их отдать девушку; такие случаи бывали нередко. Так в свое время известный товарищ несчастного Наливайки, Лобода, заставил пани Поплинскую выдать за него ее воспитанницу, хотя девушка была шляхтенка из хорошего рода и всей силой души ненавидела атамана. А если правда то, что говорят про неисчислимые богатства Богуна, то ведь он мог бы заплатить им и за девушку, и за утрату Розлог. А потом что? Потом, думал пан Скшетуский, ему, чтобы поиздеваться над ним, дадут знать, что «все кончено», а сами убегут в глубь литовских или мазовецких лесов, где их не настигнет даже всемогущая рука князя. Пана Скшетуского при одной мысли об этом бросало в озноб; он метался,

²⁸ Гражданская война (лат.).

как волк на цепи, жалел, что дал слово княгине, и не знал, что делать. Но это был человек, который не позволял водить себя за нос. Натуре его была свойственна огромная предприимчивость и энергия. Он не ждал того, что пошлет ему судьба; он хватал судьбу за горло и заставлял ее делать то, что ему угодно; поэтому ему, более чем кому-нибудь другому, было трудно сидеть в Лубнах со сложенными руками.

Он решил действовать. У него был слуга Жендзян, шляхтич из Подляся, мальчик лет шестнадцати, но пройдоха каких мало, который мог бы за пояс заткнуть какого угодно старика-шлемца; Скушетуский решил отправить его к Елене – на разведку. Февраль кончился, дожди прошли, март обещал быть более погожим, и дороги должны были немного поправиться. Жендзян собирался в путь. Пан Скушетуский снабдил его письмом, бумагой, чернилами и перьями и велел их беречь как зеницу ока, так как помнил, что в Розлогах ничего этого нет. Мальчику приказано было не говорить, от кого он и зачем приехал. Пусть скажет, что едет в Чигирин, пусть следит за всем и в особенности пусть разузнает, где Богун и что он делает. Жендзян не заставил повторять приказаний, надвинул шапку набекрень, свистнул нагайкой и поскакал.

Для пана Скушетуского настали тяжелые дни ожидания. Чтобы убить время, он занимался фехтованием с паном Володыевским, большим мастером этого дела, или метал дротик в кольцо. А тут еще случилось событие, которое едва не стоило жизни наместнику. Однажды медведь сорвался с привязи на дворе перед замком Вишневецкого, помял двух конюхов, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского и, наконец, бросился на наместника, который в это время шел из цейхгауза к князю даже без сабли, с одним хлыстом с медной головкой в руках. Наместник погиб бы непременно, если бы не пан Лонгин, который, увидав из цейхгауза, что творится на дворе, схватил свой меч и побежал на помощь. Пан Лонгин оказался вполне достойным потомком Стовейки: на глазах у всего двора он одним взмахом отрубил медведю голову вместе с лапой, занесенной уже на Скушетуского. Это доказательство его необычайной силы князь наблюдал из окна и немедленно ввел пана Подбипенту в покои княгини, где Ануся Божобогатая бросала на него такие взгляды, что литвин на другой день должен был пойти к исповеди и три дня не показывался в замке, пока горячею молитвой не отогнал от себя все искушения.

Между тем прошло дней десять, а Жендзяна не было видно. Наш пан Ян так похудел от ожидания, что Ануся начала расспрашивать через других, что с ним, а Карбони, доктор князя, прописал ему какое-то лекарство от меланхолии. Но Скушетускому нужно было другое лекарство, так как он денно и ночью думал о своей княжне и чувствовал все сильнее, что в его сердце засело не мимолетное чувство, а большая любовь, которая должна быть удовлетворена, ибо иначе разорвет грудь человека, как слабый сосуд.

Легко вообразить себе радость пана Яна, когда однажды на рассвете в его комнату вошел Жендзян, измученный, весь в грязи, но веселый и с добрыми вестями, которые были написаны на его лице. Наместник вскочил с постели, схватил его за плечи и крикнул:

– Письмо есть?

– Есть, пане. Вот оно.

Наместник схватил его и стал читать. Долгое время он сомневался, привезет ли письмо Жендзян даже в лучшем случае, потому что не был уверен, умеет ли писать Елена. Женщины в пограничных краях часто бывали неграмотны, а Елена, кроме того, воспитывалась среди диких людей. Но, должно быть, еще отец научил ее этому искусству, и она написала длинное письмо на четырех страницах. Бедняжка не умела выражаться витиевато и писала, что подсказывало ей сердце:

«Я уж никогда не забуду ваць-пана, скорее он меня забудет; слышала я, что бывают дурные среди вас. Но, если вы послали слугу своего в такую даль, вижу, что вы любите меня так же, как и я вас, за что я от всего сердца благодарна. Не думайте, ваць-пане, что поступаю я

не вопреки своей скромности, если пишу о моей любви; но лучше сказать правду, чем солгать или скрыть то, что в сердце. Я спрашивала пана Жендзяна, что вы поделяваете в Лубнах и какие обычаи при тамошнем дворе, а когда он мне рассказал о красоте тамошних дам, я слезами залилась от великого горя...»

Наместник прервал чтение и спросил Жендзяна:

– Что ты там говорил, дурак?

– Все хорошо, пане...

Наместник продолжал читать:

«...Ведь как же мне, простенькой, равняться с ними? Но служитель сказал мне, что ваць-пан ни на кого и смотреть не хочет...»

– Это ты хорошо сказал! – заметил наместник.

Жендзян не знал, в чем дело (наместник читал письмо про себя), но счел нужным сделать умную мину и многозначительно откашляться.

«...И я утешилась и просила Бога, чтобы он внушил вам и впредь такое чувство ко мне и благословил бы нас обоих. Аминь! Я так стосковалась по ваць-пану, как по родной матери, ибо мне, сироте, грустно на свете, но только не с вами».

Затем прелестная княжна сообщала, что она приедет с теткой в Лубны, как только дороги станут лучше, что сама княгиня желает выехать поскорее, так как из Чигирина доходят вести о волнениях среди казаков, – она ждет только возвращения молодых князей, которые поехали на конскую ярмарку в Богуслав.

«Ваць-пан – истый волшебник, – писала Елена, – сумел покорить и тетку».

Наместник усмехнулся, вспомнив, какими средствами ему удалось покорить тетку. Письмо кончалось уверениями в любви и верности, которые будущая жена обязана питать к мужу. И действительно, в этом письме было столько сердечной чистоты, что наместник перечитывал его по нескольку раз с начала до конца, повторяя в глубине души: «Дорогая моя! Да накажет меня Бог, если я когда-нибудь забуду тебя!»

Затем он стал расспрашивать обо всем Жендзяна.

Ловкий служитель дал точный ответ обо всем. Его приняли ласково. Старая княгиня расспрашивала его о наместнике и, узнав, что он славный рыцарь и пользуется доверием князя, осталась очень довольна.

– Она спрашивала у меня, – сказал Жендзян, – всегда ли вы сдерживаете данное слово. Я ей говорю: «Мосци-пани, если бы тот мерин, на котором я приехал, был мне обещан, я бы знал, что он уж не минет моих рук...»

– Ишь, плут! – рассмеялся наместник. – Если ты за меня поручился, то возьми его себе. Ты уж потом не притворяйся – сказал, что я тебя прислал?

– Сказал, увидав, что можно, и тогда меня стали еще лучше принимать, особенно панна... И красавица же она! Лучше во всем свете не сыщешь. Узнав, что я прислан вами, не знала, где меня посадить, и не будь пост, катался бы я как сыр в масле; а когда читала ваше письмо, то слезами заливалась от радости.

Наместник тоже от радости замолчал. Только спустя несколько времени он опять спросил:

– А о том, Богуне, ты ничего не узнал?

– Не годилось княгиню расспрашивать или панну, но зато сдружился я со старым тата-рином Чехлы. Он хоть и нехристь, но верный слуга панны. Он мне сказал, что сначала они все сердились на вас очень, но потом уgomонились, особенно когда стало им известно, что слухи о сокровищах Богуна – сказки!

– Как они убедились в этом?

– Было это, пане, так. Они были должны Сивиньским и обязались уплатить; срок пришел, они к Богуну: одолжи! А он говорит: добра турецкого есть немного, а денег нет; все, что было,

растратил. Как только они это услышали, сразу он стал для них хуже, и они благосклоннее к вам стали.

– Нечего и говорить! Ты все хорошо разузнал.

– Благодетель мой, если бы я одно разузнал, а другого нет, то вы могли бы сказать мне: коня ты мне подарил, а седла на нем нет. А что конь без седла?

– Ну возьми и седло.

– Благодарю покорно! Они спровадили Богуна в Переяслав, а я, как узнал об этом, сейчас же подумал: отчего бы и мне в Переяслав не поехать? Пан Скшетуский будет доволен, значит, и в полк меня скорее примет.

– Скоро, через три месяца! Ты был в Переяславе?

– Был. Но Богуна там не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что после него полковником будет Богун. Но там что-то странное творится. Солдат осталось только горсточка, остальные, говорят, пошли за Богунем или в Сечь сбежали... И это, пане, очень важное дело, потому, кажется, затевается какое-то восстание. Я хотел разузнать о Богуне что-нибудь, но мне сказали только, что он на русский берег переправился²⁹. Ну, думаю, коли так, то панна от него в безопасности; вот я и вернулся.

– Ты все хорошо исполнил. А приключений в дороге не было?

– Нет, ваша милость, только есть мне смертельно хочется.

Жендзян ушел, а наместник, оставшись один, начал вновь перечитывать письмо Елены и прижимать к губам буквы, не столь красивые, как начертавшая их ручка. В сердце его вновь вселилась уверенность, и он думал: «Дороги скоро просохнут: дал бы Бог погоду! Курцевичи, убедившись, что Богун – нищий, наверное, мне не изменят. Я им брошу Розлоги и еще что-нибудь добавлю, только бы они отдали мне мою звездочку».

Он оделся и с радостно сияющим лицом, с сердцем, полным счастья, пошел в капеллу смиренно благодарить Бога за добрые вести.

²⁹ Правый берег Днепра назывался русским, левый – татарским.

VI

По всей Украине и по Заднепровью загудел какой-то шум, точно предвестник близкой бури; какие-то странные слухи переходили из села в село, с хутора на хутор наподобие тех рассветов, которые осенью ветер разносит по степи и которые зовутся в народе перекасти-полем. В городах шептались о какой-то большой войне, хотя никто и не знал, с кем и за что придется воевать. Но что-то близилось. На лицах людей отражалось беспокойство. Пахарь неохотно выходил с плугом в поле, хотя весна пришла ранняя, тихая, теплая и над степями давно уже звенели жаворонки. По вечерам народ в селах собирался толпами и, стоя на дороге, вполголоса толковал о страшных вещах. У стариков-нищих, которые ходили по миру с гуслями, выпытывали новости. Иным казалось, что по ночам на небе горят какие-то отблески и что месяц поднимается из-за леса краснее, чем всегда. Предвещали разные несчастья или смерть короля. Все это было тем страннее, что край этот, издавна привыкший к беспорядкам, войнам, наездам, трудно было чем-нибудь запугать. Должно быть, в воздухе носились какие-то особенно зловещие вихри, если страх распространился на всех.

Особенно тяжелым и невыносимым было то, что никто не мог указать, с какой стороны надвигается опасность. Между зловещими признаками были два, которые ясно указывали на то, что действительно что-то угрожает. Прежде всего в городах и селах появилось неслыханное множество нищих-гусяров, и среди них какие-то никому не известные люди, о которых поговаривали, будто это не настоящие нищие. Они, проникая всюду, таинственно предсказывали, что день суда и гнева Божьего близок. Во-вторых, низовцы начали пить напропалую.

Второй признак был еще опаснее. Сечь, заключенная в слишком тесных границах, не могла прокормить всего своего народа, походы предпринимались не каждый день, степи не давали хлеба казакам, а потому множество низовцев из года в год в мирное время разбредались по населенным окрестностям. Ими была переполнена не только Украина, но и Русь. Одни поступали на службу к старостам, другие торговали водкой на дорогах, третьи занимались ремеслами и торговлей в городах и селах. Почти в каждой деревне вдали от других хат стояла хата запорожца. У многих в этих хатах были семьи и хозяйство. Такой запорожец, человек по большей части прошедший огонь, воду и медные трубы, был истинной находкой в деревне. Никто так хорошо не ковал лошадей, не делал колес; запорожцы были лучшие пчеловоды, рыболовы и охотники. Казак все умел, все делал – и дом мог построить, и седло сшить. Но в общем эти поселенцы были народ далеко не спокойный, да и жили-то они до поры до времени. Кто хотел силой привести в исполнение судебный приговор, напасть на соседа, тому стоило только крикнуть, и сотни молодцов слетались как вороны на падаль. Их услугами пользовались и шляхта, и магнаты, которые вели друг с другом вечные споры, а когда таких наездов не было, казаки тихо сидели в своих домах, работали не покладая рук и в поте лица зарабатывали свой хлеб.

Так продолжалось иногда год, два, но вдруг приходила весть о какой-нибудь войне или нападении какого-нибудь атамана на татар, на «ляхов» или на польских панов в Валахии – и сразу все эти колесники, кузнецы, плотники, медовары бросали свои мирные занятия и прежде всего начинали беспробудно пить по всем украинским шинкам. Пропив все, пили в долг, «не на то, что есть, но на то, что будет». Будущая добыча должна была покрыть издержки теперешнего пьянства.

Явление это повторялось с таким постоянством, что опытные люди на Украине говорили потом: «Ого! Шинки ломаются от низовцев – на Украине что-то готовится!»

И старосты усиливали гарнизоны в замках, бдительно присматриваясь ко всему; паны стягивали свою стражу, шляхта отсылала жен и детей в города.

В эту весну казаки начали пить как никогда, бросать на ветер свое заработанное добро, и это не в одном повете, не в одном воеводстве, а по всей Руси.

Что-то готовилось действительно вдоль и вширь, хотя сами низовцы не знали, что именно. Начали говорить о Хмельницком, о его бегстве в Сечь, о казаках, бежавших за ним из Черкас, Богуслава, Корсуня и других городов, но говорили и другое. Несколько лет ходили уже слухи о великой войне с неверными; король хотел этой войны, чтобы обогатить добычей казаков, да ляхи не хотели; теперь эти вести перепутались между собой и породили всеобщее беспокойство и ожидание чего-то необычайного.

Беспокойство это проникло и в лубенские стены. Нельзя было уже закрывать глаза на все эти тревожные признаки, да никогда этого и не делал князь Еремия. В его владениях беспокойство, правда, еще не перешло в брожение, страх держал всех в руках, но вскоре из Украины начали долетать слухи, что крестьяне местами начинают оказывать сопротивление шляхте, режут евреев, хотят во что бы то ни стало вступить в войска для войны с неверными и что число беглецов в Сечь все увеличивается.

Князь разослал гонцов: к пану Краковскому, к пану Калиновскому, к Лободе в Переяслав, а сам стягивал стада из степей и войска из «полянок». Между тем подоспели успокоительные известия. Пан великий гетман сообщал все, что знал о Хмельницком, но он не предполагал, чтобы это могло вылиться в какое-нибудь волнение; пан польный гетман писал: «Сброд всегда, как пчелы, роится весной». Один старый хорунжий, Зацвилюховский, прислал князю письмо, заклиная его ни к чему не относиться пренебрежительно, что великая гроза идет с Диких Полей. О Хмельницком он сообщил, что тот поскакал из Сечи в Крым просить помощь у хана. «Донесают мне мои друзья из Сечи, – писал он, – что стягивают кошевые туда войска из всех мест, никому не говоря, зачем они это делают. Думаю посему, что буря разразится над нами, а если еще это произойдет при помощи татар, то дай бог, чтобы уцелели от гибели все Русские земли».

Князь верил Зацвилюховскому больше, чем самим гетманам; он знал, что никто во всей Руси не знает так хорошо казаков и их тактики. Он решил стянуть как можно более войска и в то же время попытаться истины.

Однажды утром он велел позвать пана Быховца, поручика валашской хоругви, и сказал ему:

– Поедешь ты, сударь, послом от меня в Сечь – к пану кошевому атаману и отдашь ему это письмо с моею печатью. Но чтобы ты знал, чего держаться, я скажу: письмо только предлог, а успех посольства зависит от твоего умения. Нужно ко всему присматриваться, узнать, что там делается, сколько войска созвали и сколько созовут еще. Особенно поручаю тебе узнать всю правду о Хмельницком, поехал ли он в Крым просить татар о помощи. Ты понимаешь меня?

– Точно мне кто на ладони выписал.

– Ты поедешь на Чигирин; на отдых тебе полагается не больше чем одна ночь. Прибыв туда, ты отправишься к хорунжему Зацвилюховскому, он снабдит тебя письмами к своим друзьям в Сечи; письма эти ты отдашь им тайком. Из Чигирина ты поедешь водой до Кудака, поклонись от меня пану Гродзицкому и вручишь ему это письмо. Он тебя переправит через пороги. В Сечи долго не засиживайся: смотри, слушай и возвращайся, если останешься жив, потому что дело нешуточное.

– Располагайте моею жизнью, ваша светлость! Сколько людей взять мне?

– Возьми сорок человек. Поедешь отсюда вечером, а перед отъездом придеешь еще за инструкциями. Я поручаю тебе важную миссию.

Пан Быховец вышел в полном восторге; в соседней комнате находился Скшетуский и еще несколько офицеров из артиллерии.

– Ну что? – спросили его.

– Сегодня в путь.

– Куда? Куда?

– В Чигирин, а потом дальше.

– Пойдем-ка со мной, – сказал Скшетуский и увел его в свою комнату.

– Послушай, друг, – заговорил он, – проси, чего хочешь, хоть моего турецкого коня, – все отдам, ничего не пожалею, только уступи мне поручение князя. Моя душа так и рвется в ту сторону. Хочешь денег – возьми деньги. Славы тебе это не принесет, ведь если война и вспыхнет, то прежде всего здесь, а погибнуть ты можешь. А главное: я знаю, что тебе нравится Ануся. Если ты поедешь, то, клянусь, ей тут вскружат голову.

Последний аргумент более всего подействовал на пана Быховца, хотя и не совсем еще убедил его. Что скажет князь, не рассердится ли? Подобное поручение – знак особого доверия князя.

Скшетуский выслушал все возражения, пошел к князю и приказал пажу доложить о себе.

Паж вскоре вернулся с разрешением войти.

Сердце наместника дрогнуло из опасения услышать короткое «нет». Тогда прощай все надежды.

Скшетуский упал перед ним на колени.

– Ваша светлость, я пришел умолять вас поручить мне экспедицию в Сечь. Быховец, может быть, уступил бы мне ее – он мне друг, – но боится немилости вашей светлости.

– Клянусь Богом, – воскликнул князь, – я никого бы, кроме тебя, и не послал, если бы не думал, что ты неохотно примешь мое поручение, так как недавно вернулся из дальнего путешествия.

– Я готов хоть каждый день ездить в ту сторону.

Князь пристально взглянул на него своими черными глазами.

– Что там у тебя? – спросил он наконец.

Наместник стоял как преступник под пытливым взором князя.

– Я вижу, – сказал он, – что должен открыть вам всю правду: от вас ничего не утаишь. Не знаю только, заслужу ли я одобрение вашей светлости.

И он начал рассказывать, как познакомился с дочерью князя Василия, как полюбил ее и как томится желанием увидеть ее теперь, а потом, на обратном пути из Сечи, перевезти в Лубны, чтобы уберечь ее от последствий казацких волнений и назойливого ухаживания Богуна. Он умолчал лишь о проделках старой княгини, так как был связан словом. Князь выслушал его, прерывая.

– Я бы и так позволил тебе ехать и дал бы людей, – сказал он, – но если тут замешаны твои личные интересы, то я даю разрешение с особым удовольствием.

Князь ударил в ладоши и приказал позвать пана Быховца.

Наместник радостно поцеловал руку князя, тот обнял его и велел успокоиться. Он очень любил Скшетуского, как храброго солдата и офицера, на которого можно было во всем положиться. Кроме того, они были крепко связаны тем чувством, которое заставляет подчиненного всей душой любить и уважать своего начальника, а начальника – ценить подчиненного. Около князя вращалось немало придворных, служивших исключительно для собственной выгоды, но орлиные глаза князя Еремии ясно видели все окружающее. Он знал, что душа Скшетуского чиста как кристалл, ценил это и был благодарен за преданность.

С радостью услышал он, что его любимец полюбил дочь Василия Курцевича, старого слуги Вишневецкого, память которого была тем дороже князю, чем печальнее была его участь.

– Не по забывчивости до сих пор не наводил я никаких справок о девушке, – пояснил князь, – нет. Опекуны ее ни разу не заглянули в Лубны, жалоб на них я не получал и думал, что там все хорошо. Теперь, после того как ты мне напомнил, я буду помнить о ней, как помнил бы о родной дочери.

Скшетуский не мог надивиться доброте вельможи, который, казалось, упрекал себя в том, что среди массы различных дел до сих пор не занялся участью дочери своего старого солдата.

Дверь открылась, и вошел пан Быховец.

– Я не беру назад слова, – сказал ему князь. – Если ты захочешь, то поедешь, но я прошу только уступить твою миссию Скшетускому. У него есть вполне законные основания желать этой поездки, а я, со своей стороны, подумаю о другом поручении для тебя.

– С меня достаточно было бы приказания вашего сиятельства, – ответил Быховец, – но если вы столь милостиво отдаете это дело на мое усмотрение, то я не обману вашего доверия и поступлю согласно вашему желанию.

– Поблаговари же товарища, – сказал князь Скшетускому, – и иди, собирайся в путь.

Скшетуский крепко пожал руку Быховца и через несколько часов был готов. В Лубнах жизнь давно уже ему наскучила, а эта поездка удовлетворяла все его желания. Прежде всего он увидит Елену, потом... допустим, он должен расстаться с нею на долгое время, но ведь раньше, чем он вернется, дороги не просохнут. Княгиня не смогла бы и так приехать в Лубны, и Скшетуский должен был бы или сидеть на месте, или жить в Розлогах, а это противоречило бы его договору с княгиней и, главное, возбудило бы подозрения Богуна. Елена могла бы считать себя в полной безопасности от его поползновений только в Лубнах, и Скшетускому лучше было уехать на время, с тем чтобы на обратном пути привезти ее в Лубны под защитой княжеского отряда. Снабженный письмами Вишневецкого и деньгами из княжеской казны, наместник еще до ночи отправился в путь в сопровождении Жендзяна и сорока солдат из княжеской казацкой хоругви.

VII

Это было уже во второй половине марта. Травы зазеленели, перекасти-поле зацвело, степь закипела жизнью.

Рано утром на следующий день наместник ехал по степи, точно по зеленому морю. И везде радость, весенние голоса птиц; вся степь звенела, как лира под рукой Божьей. Над головами всадников высоко-высоко в прозрачном воздухе чернеют неподвижные точки: это ястребы застыли в своем полете; еще выше тянет треугольник диких гусей; журавли тянут длинной вереницей, а на земле пасутся табуны одичалых лошадей; вот они несутся, как буря, и останавливаются как вкопанные, оглядывая налитыми кровью глазами непрошенных гостей. Можно подумать, что они собираются броситься на них и растоптать, но еще минута – и табун поворачивает назад, только трава шелестит да цветы раскачивают своими головками. Топот утих в отдалении, и вокруг по-прежнему слышится немолчный хор птичьих голосов.

Будто и весело вокруг, а в то же время и грустно: одиноким себя чувствуешь среди миллионов живущих существ. Зато какая ширь, какое приволье! И быстроногий конь, и вольная мысль бессильны перед этой необъятной ширию. Ее поймешь только тогда, когда полюбишь эту пустыню, будешь парить над нею своей тоскующей душой, отдыхать на ее могилах и прислушиваться к ее голосам.

Было раннее утро. На стеблях травы, как брильянты, блестели крупные капли росы; отряд наместника двигался шагом, и трудно было двигаться быстрее по размокшей земле. Но наместник не разрешал своим людям надолго останавливаться на могильных курганах: он спешил встретиться и вместе с тем проститься.

В полдень на другой день перед ним мелькнули из-за леса ветряные мельницы, кольцом окружавшие Розлоги. Сердце пана Скшетуского тревожно забилося. Там его никто не ждет, не гадают. Что она скажет, когда увидит его? Вот и домики соседей, там деревня, а там и колодезный журавль. Наместник пришпорил коня и помчался вперед; свита не отставала. Из избы торопливо выбегали женщины, смотрели вслед отряду и крестились: черти не черти, татары не татары. Грязь так и летела из-под копыт, нельзя было и разглядеть как следует, кто это мчится. А они между тем домчались до площадки и остановились перед запертыми воротами.

– Гей там! Отпирай, кто жив! Неистовый лай собак вызвал людей из дому.

– Кто едет? – спросил чей-то робкий голос.

– Отворяй!

– Князей дома нет.

– Отворяй же, нехристь! Мы от князя, из Лубен.

Челядь Курцевичей наконец узнала пана Скшетуского.

– Ах, это ваша милость! Сейчас, сейчас!

Ворота раскрылись, вышла и сама княгиня и, прикрыв глаза рукой от солнца, посмотрела на приехавших.

Скшетуский соскочил с коня и подошел к ней.

– Не узнаете меня, княгиня?

– Ах, это вы, пан наместник! А я уж думала, что татары напали. Милости прошу пожаловать в комнаты.

Они вошли в дом.

– Вы дивитесь, конечно, видя меня в Розлогах, а я между тем не нарушил своего слова и заехал к вам в Чигирин только проездом. Князь велел мне остановиться в Розлогах и узнать о вашем здоровье.

– Я очень благодарна князю за внимание. Когда он думает выгнать нас из Розлог?

– Он и не думает об этом... Да и вообще все будет так, как я обещал вам. Вы останетесь в Розлогах, а с меня и моего довольно.

Княгиня сразу повеселела и любезно сказала:

– Ну садитесь, садитесь!.. Как я вам рада!

– Княжна здорова? Где она?

– О, знаю я, зачем вы приехали, рыцарь! Здорова, здорова... От любви еще похорошела. Да я сейчас пришлю ее к вам, да и сама приоденусь, а то не годится принимать гостей в таком наряде.

На княгине было какое-то линялое платье и большие кожаные сапоги на ногах.

В ту же минуту в комнату вбежала Елена, хотя никто ее не звал; о том, кто приехал, она узнала от татарина Чехлы. Вбежала запыхавшаяся, покрытая ярким румянцем, только глаза горели радостью и счастьем. Княгиня благоразумно удалилась, а Скшетуский начал осыпать горячими поцелуями ее руки, шею и лицо. Взволнованная, обессиленная, она не могла противиться его ласкам.

– А я ждала, ждала вас, – шептала она, закрывая глаза, – только не целуйте меня так... нехорошо!

– Как же мне не целовать вас, панна, – оправдывался Скшетуский. – Я думал, что умру, высохну без вас, и высох бы, если бы не князь.

– Значит, князь все знает?

– Я ему рассказал. Он обрадовался, вспомнил князя Василия... Что вы сделали со мной? Во всем мире я никого, кроме вас, не вижу... А сокол... Помните, как сокол тянул мою руку к вашей? Уж, знать, такая наша судьба.

– Помню.

– В Лубнах меня томила страшная тоска. Я убежал на Солоницу, и там вы вставали передо мной как живая. Я протягивал к вам руки, и вы исчезали как призрак. Но теперь вы уж не вырветесь из моих рук, нет такой силы, которая бы могла разлучить нас... Скажите еще раз, любите ли вы меня?

Елена опустила глаза, но проговорила громко и ясно:

– Как никого на свете!

– Если бы мне сулили королевский венец, я отдал бы его за ваши слова. Я верю всей душой, что вы говорите правду, хотя не знаю, чем заслужил я вашу любовь.

– Чем? Вы имели жалость к моему отцу, вы утешали меня, вы говорили мне такие слова, каких я раньше ни от кого не слыхала.

Елена замолчала. Волнение мешало говорить ей.

Поручик вновь начал целовать ее руки.

Теперь она казалась ему еще более прекрасной, чем прежде; в полутемной комнате она была похожа на изображения святых мучениц в мрачных костелах. И в то же время от нее веяло таким теплом и жизнью, таким блаженством сияло ее лицо, что всякий, глядя на нее, мог бы потерять голову и полюбить ее на всю жизнь.

– Вы еще ослепите меня своей красотой! – сказал наместник.

– Но ведь слышала я: панна Анна Божобогатая во сто раз красивее меня! – лукаво сказала княжна и улыбнулась, показав свои жемчужные зубы.

– Перед вами она то же, что оловянная тарелка перед полной луной.

– А мне пан Жендзян говорил совсем другое.

– Пан Жендзян стоит порки. Что мне за дело до той панны? Пусть другие пчелы берут мед с этого цветка, а пчел этих там немало.

Дальнейший разговор прервал своим приходом Чехлы, который пришел приветствовать наместника. Он его считал уже за своего будущего пана и, по восточному обычаю, кланялся ему низко, в пояс.

– Ну, старый Чехлы, я и тебя возьму вместе с панной. Служи ей до конца жизни.

– Моя смерть уж не за горами, но, пока жив, буду служить.

– Через какой-нибудь месяц я вернусь из Сечи, и мы поедем все в Дубны, там уже нас ждет ксендз Муховецкий с венцами.

Елена перепугалась.

– Значит, вы едете в Сечь?

– Послом от князя с письмами. Но вы не бойтесь. Особа посла священна даже для неверных. Вас с княгиней я сейчас же отправил бы в Дубны, если бы не страшные дороги. Сам я видел их – и верхом проехать трудно.

– А в Розлогах вы долго пробудете?

– Сегодня же вечером еду на Чигирин. Скорей простимся – скорей увидимся. А главное дело, и служба: не мое время, не моя и воля.

– Ну, нацеловались, наворковались, голубки? – спросила, входя, княгиня. – Пора и обещать. Ишь, как щеки у девушки покраснелись! Вы, рыцарь, должно быть, не теряли времени даром. Ну хорошо, хорошо, я не браню вас. Пойдемте!

Она ласково потрепала Елену по плечу и повела ее за собою. Княгиня была в прекрасном расположении духа. Мысль о Богуне она оставила уже давно, а теперь все шло к тому, что Розлоги «*cum boris, lasis, graniciebus et coloniis*» останутся во владении ее и ее сыновей.

А Розлоги представляли собой немалый кусок земли.

Наместник спросил, скоро ли вернутся князья.

– Каждый день поджидаю. Сначала они сердились на вас, а потом взвесили все дело хорошенько и очень полюбили вас как будущего родственника. Да и то ведь сказать, такого удалого кавалера трудно найти в нынешние мягкие времена.

Обед кончился, и Елена с наместником вышли в сад. Сад весь был точно снегом обсыпан цветом яблонь и черешен; за ним чернела дубрава, где куковали кукушки.

– Что-то она напроорочит нам? – спросил Скшетуский и обернулся лицом к лесу. – Кукушка, кукушка, сколько лет проживем мы вместе с этой панной?

Кукушка снова закуковала. Наместник с Еленой насчитали более пятидесяти.

– Дай бог!

– Кукушка всегда говорит правду, – серьезно заметила Елена.

– А если так, то я еще буду ее спрашивать! – сказал наместник. И он спросил снова:

– А детей у нас много будет? Отвечай, верная птичка!

Кукушка точно по заказу прокуковала ни больше ни меньше как двенадцать раз.

Скшетуский ног под собой не чувствовал от радости.

– Ей-богу, умереть мне старостой! Слышали вы, панна?

– Ничего я не слышала, – прошептала Елена в смущении. – Даже не знаю, о чем вы спрашивали.

– А не повторить ли?

– И этого не надо.

Весь день прошел как сон. Вечером пришла минута долгого, горячего расставанья, и наместник выехал в Чигирин.

VIII

В Чигирине Скшетуский застал старого Зацвилюховского в сильном волнении: из Сечи доходили грозные слухи. Теперь уже никто не сомневался, что Хмельницкий готовился с оружием в руках добиваться осуществления казацких привилегий и отомстить за свои личные обиды. Зацвилюховский получил сведения, что он теперь сидит в Крыму, просит помощи у хана и не сегодня завтра появится в Сечи. Весь Низ готовился к войне с Речью Посполитой; буря близилась с каждым часом. Далекие и неясные признаки тревоги сменились настоящей уверенностью в неизбежности резни. Великий гетман, не придававший прежде большого значения всему этому делу, теперь придвинул свое войско в Черкасам; отдельные его части доходили даже до Чигирина, чтобы как-нибудь помешать казакам присоединиться к своим недоброжелательным товарищам. Из городов и селений валили толпы – все в Сечь. Шляхта же, наоборот, торопилась переезжать в города. Говорили, что в южных воеводствах будет объявлен призыв ополчения. Несчастная Украина разделилась на две половины: одна спешила в Сечь, другая сосредоточивалась около коронного обоза; одна держалась за установленный порядок вещей, другая домогалась безграничной свободы; одна хотела сохранить то, что было результатом векового труда, другая стремилась уничтожить все. И вот – брат вскоре должен был восстать на брата.

Но пока тучи еще клубились на украинском горизонте, пока раздавались только одиночные раскаты грома, люди как будто еще не отдавали себе отчета, не знали, в какой степени разыграется приближающаяся буря. Может быть, не знал этого и сам Хмельницкий, который в это время писал письма, исполненные жалоб и недоумения, то к пану Краковскому, то к казацкому комиссару, то к коронному хорунжему и вместе с тем клялся в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время или думал, что еще можно предотвратить междоусобицу, об этом говорили разное; только два человека не ошибались ни на одну минуту.

Это были Зацвилюховский и старый Барабаш.

Старый полковник тоже получил письмо от Хмельницкого, письмо грозное, насмешливое и вызывающее. «Мы со всем запорожским войском, – писал Хмельницкий, – употребим все наши усилия, чтобы добиться исполнения тех привилегий, которые ваша милость припрятывали у себя на дому. А так как вы таили их ради собственных выгод, то все запорожское войско считает вас полковником над овцами или над свиньями, но не над людьми. Что до меня, то я, с своей стороны, прошу вашу милость простить мне, если не угодил вам чем-либо в своей убогой хате в день святого Николая и что уехал я в Запорожье без вашего разрешения».

– Видите, как он насмеялся надо мной? – жаловался Барабаш Скшетускому и Зацвилюховскому. – А я его когда-то учил военному делу, был родным отцом для него.

– Он пишет, что будет со всем запорожским войском добиваться осуществления привилегий, – заметил Зацвилюховский. – Значит, попросту говоря, это – домашняя война, самая страшная война из всех.

– Я вижу, что надо мне спешить, – согласился с ним Скшетуский. – Дайте мне скорее письма к людям, с которыми мне придется иметь дело.

– К кошевому атаману у вас есть?

– Есть от самого князя.

– Я вам дам еще к одному куренному атаману, а у пана Барабаша там есть родственник, тоже Барабаш; от них вы все узнаете. Но, в сущности, кто знает, не опоздало ли ваше посольство? Князь хочет знать, что там творится; ответ один: творится плохое; а если он хочет знать, чего держаться, – ответ тоже один: стянуть как можно больше войск и соединиться с гетманами.

– А вот вы и пошлите кого-нибудь к князю с этим ответом, а я должен ехать, раз меня послали, – ответил Скшетуский.

– Но знаете ли вы, ваша милость, что вам предстоят опасности? – воскликнул Заивилиховский. – И здесь народ возбужден до крайности, усидеть трудно. Если бы не близость коронного войска, чернь сейчас же бросилась бы на вас. А вы подумайте, что делается теперь там! Вы просто лезете змею прямо в пасть.

– Пане хорунжий, Иона был не только в пасти, а и во чреве китовом, но и то, с Господней помощью, вышел оттуда невредимым.

– Если так, то поезжайте. Я хвалю ваше мужество. До Кудака вы доедете спокойно, а там увидите, что вам делать. Гродзицкий – старый солдат; он вам вернее скажет. А к князю поеду я сам; уж если мне на старости лет суждено еще раз сражаться, то я предпочитаю биться под его знаменами. А пока что я приготовлю для вас лодку и гребцов.

Скшетуский вышел и отправился прямо на свою старую квартиру в княжеском доме, чтобы окончательно снарядиться в путешествие. Он не без некоторого удовольствия думал о нем, несмотря на слова Зацвилиховского. Он увидит Днепр на всем его протяжении, до самого Низа, до порогов, а земля эта представлялась тогдашнему рыцарству заколдованной областью, полной тайн и опасностей, попросту кладом для любителя сильных ощущений. Не один рыцарь целый век прожил на Украине и не мог похвастать, что видел Сечь, разве если пожелал бы записаться в братство, но на это было мало охотников среди шляхты. Времена Самуэля Зборовского миновали и более не вернутся. Несогласия между Сечью и Речью Посполитой не только не уменьшались, но, наоборот, увеличивались все больше и больше, а со времен Павлюка и Наливайки наплыв шляхты как русской, так и польской, в свою очередь, уменьшался. Булыги-Курцевичи находили мало последователей; вообще, на Низ, в братство, шляхту гнало только несчастье или тяжелое преступление.

Какая-то непроницаемая таинственная мгла скрывала от человеческих глаз эту хищническую днепровскую республику. О ней рассказывали чудеса, и Скшетускому хотелось убедиться собственными глазами, много ли правды в том, что говорят.

За жизнь свою он и не думал опасаться. Особа посла священна, особенно же – посла князя Еремии.

Так раздумывал он, выглядывая из своего окна на рынок. Вдруг ему показалось, что мимо него промелькнули две знакомых фигуры и направились в Дзвонецкий угол, где была лавка валаха Допула.

Он присмотрелся внимательнее: это был пан Заглоба с Богуном.

Они шли под руку и сейчас же скрылись в дверях, над которыми торчала вежа, обозначающая винный погреб. Наместника не столько удивило присутствие Богуна в Чигирине, сколько его дружба с паном Заглобой.

– Жендзян, сюда! – крикнул он. Мальчик поспешил на зов.

– Слушай, Жендзян, пойдешь в тот шинок, вон туда... Там найдешь старого шляхтича с рубдом на лбу и скажешь ему, что кто-то желает сейчас же видеть его по важному делу. А если он будет спрашивать, кто, – не говори.

Жендзян исчез и тотчас вернулся, ведя за собой пана Заглобу.

– Добрый день!.. – поздоровался с ним Скшетуский. – Узнали меня?

– Узнал ли вас? Пусть меня татары на сало перетопят и сделают из меня свечи, если я забыл вас. Ведь это вы несколько месяцев тому назад у Допула вышибли двери Чаплинским, и это мне доставило особенное удовольствие, потому что некогда я тем же манером освободился из стамбульской тюрьмы. А как поживает пан Повсинога, герба сорвиштаны, вместе с его девственностью и мечом? По-прежнему ли воробьи садятся на его голову, принимая за высушенное дерево?

– Пан Подбипента здоров и вам кланяется.

– Это очень богатый, но зато и безмерно глупый шляхтич. Если он срубит три головы таких, как его собственная, то в общей сложности ничего не получится – он обезглавил трех безголовых. Уф, жара какая, во рту совсем пересохло!

– У меня есть мед изрядный и, кажется, неплохой. Вы не откажетесь?

– Дурак отказывается, если не дурак просит. Мне цирюльник посоветовал пить мед, чтобы меланхолию от головы оттягивало. Тяжелые времена наступают для шляхты; *dies irae et calamitatis*³⁰. Чаплинский помирает от страха и к Допулу больше не ходит, ибо там пьют казацкие старшины. Я один пренебрегаю всеми опасностями и разделяю компанию с этими полковниками, от которых так дегтем попахивает. Славный мед! Откуда?

– Из Лубен. А много здесь старшин?

– Кого тут нет? Федор Якубович здесь, старый Филипп Дзедзяла здесь, Даниил Нечай здесь, а с ними и сокровище ихнее – Богун, который стал мне приятелем с тех пор, как я перепил его и обещал усыновить. Все они теперь киснут в Чигирине и пронюхивают, в какую сторону им тянуть, потому что еще не смеют открыто перейти на сторону Хмельницкого. А если не перейдут, то это будет моя заслуга.

– Не понимаю я вас, сударь.

– Очень просто. Во время попок я всегда склоняю их на сторону Речи Посполитой. Если король не делает меня старостой, но знайте, пан Скшетуский, что нет справедливости в Речи Посполитой и не ценит она своих подданных за доблестные деяния, а потому лучше откармливать кур, чем рисковать своей головой *pro publico bono*!³¹ Да!

– Вы лучше рисковали бы головой, сражаясь с врагами речи Посполитой, а вы только пьянствуете с ними да попусту тратите на кутежи свои деньги.

– Я трачу? Да вы за кого же меня принимаете? Мало разве того, что я вожу компанию с мужиками, – стану я еще деньги платить за них? Я считаю великой честью и то, что позволяю им платить за себя.

– А Богун? Что он тут поделявает?

– Он? Прислушивается к тому, что слышно из Сечи, как и все другие. Он любимец всех казаков. Они его чуть не на руках носят, потому что переяславский полк за ним, не за Лободой пойдет. А кто ведает, на чью сторону станут реестровые Кшечовского? Богун всегда был с низовцами, когда приходилось идти на турок или татар, а теперь он заколебался. Он мне проговорился по пьяному делу, что влюблен в польскую шляхтянку и хочет на ней жениться... Ну вот ему и некстати чуть не накануне женитьбы якшаться с мужиками. Уж какой славный мед!

– Да вы выпейте еще.

– Выпью, выпью. У Допула нет такого.

– Вы не спрашивали, как зовут невесту Богуну?

– Пане Скшетуский, на кого черта мне знать ее фамилию? Знаю одно, что когда я наставлю рога Богуну, то будет называться пани Оленева.

Наместник вдруг почувствовал страшное желание хватить по уху пана Заглобу, а тот продолжал болтать, не обращая ни на что внимания.

– В мои молодые годы я тоже никому спуску не давал. Если бы только порассказать вацьпану, за что меня пытали в Галате! Видите дыру на моем лбу? Это все проклятые евнухи из сераля тамошнего паши пробили.

– А вы говорили раньше, что это от разбойничьей пули.

– Говорил? И правду сказал! Все турки – разбойники, убей меня бог! Дальнейший разговор прервал приход Зацвилюховского.

³⁰ День гнева и смятения (*лат.*).

³¹ Ради общественного блага (*лат.*).

– Ну, пан наместник, – сказал старый хорунжий, – лодки готовы, проводники – люди верные; можете ехать хоть сейчас. А вот и письма.

– Значит, я прикажу всем идти на берег.

– А вы куда едете? – поинтересовался пан Заглоба.

– В Кудак.

– Ох, жарко вам там будет!

Но наместник не слышал уже этих слов. Он поспешно вышел на двор, где все его люди и лошади уже стояли готовые к дороге.

– На лошадей – и к берегу! – скомандовал пан Скшетуский. – Коней поставить на лодки и ждать меня!

А в это время Зацвилюховский допрашивал пана Заглобу:

– Говорят, вы теперь дружите с казацкими полковниками и пьянствуете с ними?

– Pro publico bono, пане хорунжий.

– Я прекрасно вижу, что вы человек неглупый и очень остроумный. Остроумия у вас даже больше, чем стыда. Вот и теперь вы заискиваете перед казаками, чтобы с вами ничего не могло приключиться, если они останутся победителями.

– А пусть бы и так! Испытав все прелести турецких пыток, я совсем не имею охоты испытывать то же от казаков... Два таких гриба любой борщ испортят. А что до моего стыда, то я уж лучше буду молчать. Пусть другие говорят, что угодно. Истина всегда всплывает наверх, как масло всплывает поверх воды.

В комнату вошел пан Скшетуский.

– Солдаты готовы, – сказал он.

Зацвилюховский налил чару.

– За счастливый путь!

– И благополучное возвращение! – прибавил пан Заглоба.

– Любопытную страну вы увидите, – продолжал пан Зацвилюховский. – Пану Гродзицкому в Кудак передайте мой привет. Вот это солдат! Живет на краю света, далеко от гетманских глаз, а порядок у него такой, что дай бог такого всей Речи Посполитой. Я прекрасно знаю Кудак и пороги. В прежнее время мне часто приходилось ездить туда... а теперь сердце щемит, когда подумаешь, что все это прошло, миновало.

Он опустил свою седую голову и задумался. Воцарилось глубокое молчание. Слышался топот конских копыт: это отряд пана Скшетуского съезжал к берегу.

– Господи боже мой! – снова очнулся Зацвилюховский. – И тогда жилось тревожно, но не так, как теперь. Вот хоть бы под Хотинем двадцать семь лет тому назад! Когда гусары под командой Любомирского атаквали янычар, казаки рвались из своего окопа, бросали шапки кверху и кричали Сагайдачному так, что земля дрожала: «Пусти нас, батько, умирать с ляхами!» А теперь? Теперь Низ, оплот христианства, пускает татар в границы Речи Посполитой, чтобы броситься на них, когда они будут возвращаться с добычей. Да что я говорю! Теперь Хмельницкий открыто вступает в союз с татарами, чтобы вместе резать христиан...

– Выпьем же с горя! – перебил Заглоба. – Вот так мед!

– Лучше умереть, чем быть свидетелем междоусобной войны, – продолжал старый хорунжий. – Кровью хотят смыть свою обиду, но братская кровь – не кровь искупления. Кто на Низу? Русины. А в войске князя Еремии, в полках панов кто? Тоже русины. А мало их в обозе коронном? А я сам кто таков? Эх, несчастная Украина! Нехристи-крымцы наденут тебе веревку на шею, и будешь ты грести на турецких галерах!

– Не горюйте, пане хорунжий, – воскликнул Скшетуский, – и так уж плакать хочется. Может быть, нам вновь засветит ясное солнышко.

Но солнце как раз заходило и в эту минуту красноватыми лучами освещало седую голову Зацвилюховского.

В городе звонили к вечерне.

Наши друзья вышли из комнаты. Пан Скшетуский отправился в костел, пан Зацвилюховский в церковь, а пан Заглоба к Допулу на Дзвонецкий угол.

Было уже темно, когда они сошлись снова у Тасминской пристани. Люди пана Скшетуского были уже в байдаках; гребцы еще вносили в лодки разные пожитки. С реки дул холодный ветер, и ночь не обещала быть погожей. Около костра, разведенного на берегу, река отсвечивала кровавым отблеском и, казалось, со страшной скоростью стремилась куда-то в неведомую темную даль.

– Ну, счастливый путь! – сказал хорунжий, дружески пожимая руку Скшетуского. – Смотрите, держите ухо востро!

– Я буду осторожен. Даст бог, скоро увидимся.

– Увидимся, да только разве в Лубнах или в княжеском лагере.

– Вы окончательно решили идти под хоругви князя?

Зацвилюховский поднял руки кверху.

– Что ж делать? Если война, то война!

– Vive vaeque!³² – вдруг закричал Заглоба. – А если течение занесет вас в Стамбул, пан Скшетуский, то кланяйтесь султану. Впрочем, черт с ним! Что за мед был у вас! Брр! Экий холод!

– До свиданья!

– До свиданья!

– С Богом!

Весла закрипели и упали в воду; байдаки поплыли. Огонь на берегу начал мало-помалу уменьшаться. Долгое время Скшетуский еще видел величественную фигуру хорунжего, и какая-то грусть сжала ему сердце. Теперь его несет течение, несет, отдаляет от любящих сердец, от милой... несет неумолимо, как судьба, в дикие страны, во мрак...

Вот и устье Тасмина, и Днепр.

Ветер свистел, весла монотонно скрипели. Гребцы затянули унылую песню.

Скшетуский закутался в бурку и улегся на дно лодки. Он начал думать о Елене, о том, что она еще до сих пор не в Лубнах, что Богун остался, а он уезжает. Грустным думам пана Скшетуского вторило и завывание ветра, и плеск воды, и скрип весел, и песни гребцов, но усталость брала свое, и он заснул.

³² Живи и будь здоров! (лат.)

IX

На другой день он проснулся бодрым, здоровым и веселым. Погода была чудесная. Легкий и теплый ветерок еле-еле волновал зеркальную гладь полноводной реки.

Далекие туманные берега сливались с равниной вод в сплошную широкую, бескрайнюю равнину. Жендзян проснулся, протер глаза и испугался: вода и вода кругом, ничего не видно, кроме нее.

– О господи! Неужто мы уж на море?

– Это не море, а большая река, – успокоил его Скшетуский, – а берега ты увидишь, когда спадет туман.

– Ведь этак мы в Туретчину скоро приплывем!

– И приплывем, если прикажут. Да ведь мы не одни, оглянись вокруг. Действительно, вокруг виднелось несколько десятков байдаков, домбазов и узких черных казацких челноков, называющихся обыкновенно чайками. Одни стремительно неслись вниз по воде, другие тяжело поднимались на веслах и парусах вверх по течению. Одни везли рыбу, воск, соль и сушеную вишню в прибрежные города, другие возвращались назад в Кудак с запасами провианта, третьи спешили с разными товарами, которые находили сбыт на Крамном базаре в Сечи. От устья Псела днепровские берега являли собой совершенную пустыню, изредка белели казацкие зимовники, и река была единственной дорогой, соединяющей Сечь с остальным миром; оттого и движение по ней не прекращалось, особенно во время половодья, когда судам не надо было бояться даже порогов, за исключением Ненасытца.

Наместник с любопытством оглядывался вокруг, а между тем его байдаки быстро мчались в Кудак. Туман опустился ниже, и берега явственно обрисовывались на голубом фоне неба. Над головами путников проносились миллионы водяных птиц: пеликанов, диких гусей, уток и чаек; в прибрежных камышах шла такая возня и слышался такой шум, что можно было подумать, что птицы затеяли войну между собой. За Кременчугом берега значительно понизились.

– Смотрите! – вдруг закричал Жендзян. – Солнце так печет, а на полях снег.

Скшетуский посмотрел; действительно, кругом, по обоим берегам реки, куда ни кинь взгляд, земля покрыта каким-то белым покровом.

– Эй, старшой, что там белеет? – спросил он.

– Вишни, пане! – отвечал старшой.

Это был целый лес карликовых вишен, которыми на огромном пространстве поросли оба берега. Большие сочные ягоды служили пищей птицам, зверям, людям, заблудившимся в пустыне, и, кроме того, служили предметом торговли с Киевом и другими дальними городами. Теперь все леса стояли в цвету. Когда, с целью дать отдых гребцам, наместник велел причалить к берегу и вышел с Жендзяном на твердую почву, у него чуть голова не закружилась от аромата, разлитого в воздухе. Местами деревца создавали непроходимую чашу. Между вишнями в огромном количестве попадались невысокие миндальные деревца, сплошь покрытые розовым цветом. Миллионы пчел, шмелей и разноцветных бабочек порхали над этим безмерным морем цветов.

– Чудеса, чудеса! – в раздумье произнес Жендзян. – Отчего люди здесь не живут? И дичи ведь тут много.

И впрямь, между вишнями сновало множество зайцев и голубоногих перепелок, на мягкой земле виднелись явственные следы оленей, а издали слышалось грозное хрюканье диких кабанов.

Наши путники насмотрелись вдоволь, отдохнули и поплыли дальше. Берега то поднимались, то расстилались плоской равниной, открывая прелестный вид на леса, урочища, могилы и

беспредельные степи. Скетуский невольно повторил про себя вопрос Жендзяна: отчего здесь не живут люди? Но для этого нужно было, чтобы другой Еремия Вишневецкий завладел этой пустыней, заселил бы ее и защищал от татарских нападений. Местами река круто поворачивала, заливала соседние овраги, пенистыми волнами билась о каменистые берега и наполняла водой пещеры прибрежных скал. В таких пещерах казаки и находили себе убежище. Устье реки, поросшее целым лесом камыша, кишело от обилия птиц, – словом, перед глазами путников расстилался мир дикий, девственный, пустынный и полный тайн.

Все это было бы прекрасно, если бы не мириады комаров и других насекомых, яростно нападавших на каждое живое существо.

Вечером отряд наместника пристал на ночлег к острову Романовка. Сбежались поглядеть на редкое зрелище рыбаки, все в дегте, чтобы защищаться от нападения комаров. Рыбаки эти выглядели настоящими дикарями. Весной они толпами съезжались сюда, ловили и вялили рыбу, а потом возили ее в Чигирин, Черкасы, Переяслав и Киев. Ремесло их было трудное, но оно вполне вознаграждалось обилием рыбы, которою были полны днепровские воды.

Наместник узнал от рыбаков, что все низовцы, которые занимались здесь рыболовством, несколько дней тому назад покинули остров и ушли на Низ, по зову кошевого атамана. Что ни ночь, то на берегах зажигались огни; это разводили костры казаки, бежавшие в Сечь. Рыбаки знали, что готовится «поход на ляхов», и ничуть не скрывали этого от наместника. Пан Скетуский сам видел, что его посольство запоздало, что, может быть, прежде чем он достигнет Сечи, полки казаков уже обрушатся на Север, но ему велено было ехать, и он поедет, не останавливаясь.

Наутро наши путники тронулись дальше. Вот дивный Таренский Рог, вот Сухая Гора и Конский Остров, славившийся обилием змей и всевозможных гадов. Все это – и дикие окрестности, и все росшая сила течения – предвещало близость порогов. А вот на горизонте показалась и Кудакская башня. Первая половина пути была пройдена.

Но наместнику не пришлось в этот вечер ночевать в замке: пан Гродзицкий установил порядок, что после вечерней зари никто не мог войти в крепость. Если бы приехал сам король, и тот ночевал бы в слободке, расположенной под валами замка.

Наместник должен был подчиниться общему правилу, хотя ночлег в избах слободки сулил мало приятного: они были так мизерны, так наскоро слеplены из хвороста и глины, что иные походили скорее на решето, чем на жилое помещение. Впрочем, других и строить не стоило. При первом же нападении татар крепостные пушки прежде всего разбивали всю деревушку, чтобы не дать нападающим укрыться в ее домах. Тут жили люди «захожие», то есть пришельцы из Польши, Руси, Крыма и Валахии, люди разных вер, но о вере тут никто и не спрашивал. Полей они не обрабатывали – все равно придут татары и все сожгут, – питались они рыбой и хлебом, который привозили из Украины, пили просяную водку и занимались всевозможными работами в крепости.

Наместник не мог уснуть, настолько воздух был пропитан зловонием конских шкур, из которых в слободке выделялись ремни. На следующий день, едва протрубили утреннюю зорю, он послал в замок сказать, что прибыл княжеский посол и просит его принять. Гродзицкий, в памяти которого еще жило воспоминание о недавнем посещении князя, сам вышел навстречу. Это был человек лет пятидесяти, с одним глазом, как циклоп, одичавший от многолетнего сидения на краю света, гордый сознанием своей неограниченной власти. Лицо его вдобавок изрыла оспа и изрисовали следы татарских сабель и стрел. Суровый воин, чуткий, как журавль, он не спускал глаз с татар и казаков. Пил только воду, спал не больше семи часов в день, по несколько раз в ночь вскакивал смотреть, хорошо ли стража валы охраняет, и за всякую провинность приговаривал к смерти. Грозный, но и беспристрастный к казакам, он пользовался их полным уважением. Когда зимою Сечь голодала, он снабжал их хлебом. Русин родом, он был одного покрова с Лянцкоронским и Самуэлем Зборовским.

– Так вы, значит, в Сечь едете? – спросил Скшетуского старый комендант после обильного угощения.

– В Сечь. Скажите мне, ваць-пане, какие новости оттуда?

– Война! Кошевой атаман созвал людей отовсюду – и с лугов, и с речек, и с островов. С Украины туда бегут целыми толпами... Я им препятствую как могу. Там теперь войска тысяч тридцать, если не больше. Если пойдут на Украину и если к ним присоединится чернь и городские казаки, будет, наверное, тысяч сто.

– А Хмельницкий?

– Его ждут со дня на день из Крыма с татарами. Может быть, он уже приехал. По совести сказать, вам незачем ехать в Сечь; все равно вы можете дожидаться их здесь, ведь Кудака они не минуют.

– А вы сможете устоять?

Гродзицкий уныло взглянул на наместника и ответил отчетливо и спокойно:

– Нет, я устоять не смогу.

– Как так?

– Пороху нет. Я посылал без малого двадцать лодок, чтобы прислали хоть немного, – и не прислали. Не знаю, перехватили ли гонцов, или у самих нет; знаю, что до сих пор не прислали. На две недели у меня есть, больше нет. О, будь у меня пороху довольно, я прежде взорвал бы Кудак вместе с собой на воздух, чем сюда бы ступила казацкая нога! Велели мне сидеть здесь – сию, сказано зубы скалить – скалю, а если умирать придется – и это сумею!

– А сами вы, ваша милость, сами не можете делать порох?

– Вот уж два месяца запорожцы не пропускают ко мне селитры, которую нужно привозить с Черного моря. Все равно! Погибну!

– Учиться нам нужно у вас, старых солдат. А если бы вы, ваша милость, сами поехали за порохом?

– Мосци-пане, я Кудака не оставлю и оставить не могу: здесь я жил, здесь и умру. Да и вы не думайте, что едете на пиры да балы, какими в других местах встречают послов; не думайте, что там вас защитит ваше достоинство посла. Ведь они своих же атаманов убивают... С тех пор как я здесь, не помню, чтобы кто-нибудь из них умер своей смертью. Погибнете и вы.

Скшетуский молчал.

– Вижу, что духом вы пали! Тогда не ездите лучше.

– Мосци-комендант, – с гневом ответил наместник, – придумайте что-нибудь получше, чтобы напугать меня, а то, что вы говорите, я уже слышал десять раз; но если вы советуете мне не ехать, то, значит, сами не поехали бы на моем месте... А потому подумайте хорошенько, может быть, у вас не только пороху не хватит для защиты Кудака, но и храбрости!

Гродзицкий вместо того, чтобы рассердиться, ласково взглянул на наместника.

– Зубастая щука! – пробормотал он по-русински. – Простите меня, ваша милость. Из вашего ответа я заключаю, что вы сумеете поддержать достоинство князя и шляхетского сословия. А потому я вам дам пару чаек, так как на байдаках вы не проедете через пороги.

– Я об этом и приехал просить вашу милость!

– Около Ненасытца вы прикажете перетащить их к берегу; хоть воды теперь и много, но там никогда нельзя проехать. Проскочит разве лишь маленький челнок. А когда будете ниже порогов, тогда смотрите, как бы на вас не напали, и помните, что железо и свинец красноречивее всяких слов. Там только смелых людей ценят. Чайки будут завтра готовы; я прикажу приделать второй руль, на порогах одного мало.

Сказав это, Гродзицкий повел наместника показать крепость. Всюду царил образцовый порядок и дисциплина. Стража днем и ночью стояла на стенах, а татарские пленники без перерыва укрепляли их и поправляли.

– Каждый год я наращиваю стены на локоть, – сказал пан Гродзицкий, – и теперь они так высоки, что, будь у меня порох, со мной бы и сто тысяч казаков ничего не поделали. А без огня мне не защититься.

Крепость была действительно неприступная; кроме пушек ее защищали днепровские пучины и неприступные скалы, отвесно спускавшиеся в воду, не было надобности в многочисленном гарнизоне. Поэтому в замке было не более 600 человек, вооруженных мушкетами и самопалами, но зато отборных солдат. Днепр, сжатый в этом месте берегами, был так узок, что стрела, пущенная с одного берега, перелетала далеко на другой. Крепостные пушки господствовали над обоими берегами и над всей окрестной местностью. Кроме того, верстах в трех от замка стояла высокая башня, с которой открывался вид на восемь миль вокруг. В ней помещались сто солдат, к которым пан Гродзицкий каждый день заглядывал. Они, заметив в окрестности появление каких-нибудь людей, тотчас давали знать в замок. Били набат, и весь гарнизон стоял под ружьем.

– Недели не проходит, – сказал пан Гродзицкий, – без какой-нибудь тревоги. Татары, как волки, бродят толпами в несколько тысяч человек; мы их, поскольку возможно, пугаем из пушек; часто стража принимает за татар табун диких лошадей...

– И не скучно вам сидеть в таком безлюдье? – спросил пан Скетуский.

– Если б мне дали место в королевских покоях, я бы все же предпочел остаться здесь. Я отсюда вижу больше, чем король из своего окна в Варшаве.

И действительно, со стен крепости видна была безмерная ширь степи, целое море зелени, на север устье Самары, а на юг весь берег Днепра, скалы, пропасти, леса, вплоть до следующего порога, Сурского.

Под вечер они осмотрели башню, так как Скетуский, видевший впервые эту затерявшуюся в степи крепость, всем интересовался.

Между тем для него приготовили в слободке чайки, снабженные для большей поворотливости рулями с обеих сторон.

На следующий день утром он должен был тронуться в путь. Но почти всю ночь он не ложился, раздумывая, что ему предпринять, раз его посольство в страшную Сечь сулит ему верную гибель. Жизнь улыбалась ему – он был молод, любил, мечтал о жизни с любимой девушкой, но все же больше жизни любил он честь и славу. Ему пришло в голову, что близится война, что Елена, ожидающая его в Розлогах, может очутиться среди страшнейшего пожара и достаться не только Богуну, но и разнузданной дикой черни, – и душу его охватывал страх за нее и боль. Степи уже, должно быть, подсохли, можно было проехать из Розлог в Лубны, а между тем он сам велел Елене и княгине ждать его возвращения, так как не ожидал, что буря могла разразиться так скоро, и не знал, чем угрожает поездка в Сечь. И он ходил большими шагами по комнате, рвал на себе волосы и заламывал руки. Что ему было делать? Как поступить? Мысленно он видел уже Розлоги в огне, окруженными воюющей чернью, похожей скорей на полчища дьяволов, чем на людей. Звуки его шагов мрачно отдавались под сводами замка, и казалось ему, что это черные силы идут на Елену. На стенах протрубили «гасить огни», а ему казалось, что это эхо Богунова рога, и он скрежетал зубами и хватался за саблю. Ах, зачем он напросился на эту поездку и лишил ее Быховца?

Жендзян, спавший у порога, заметил его отчаяние, встал, протер глаза, подправил факел, горевший в железных обручах, и начал ходить по комнате, чтобы обратить на себя внимание своего господина.

Но тот совсем потонул в своих грустных мыслях и продолжал ходить, нарушая сонную тишину.

– Ваша милость, а ваша милость! – сказал Жендзян.

Скетуский взглянул на него мутными глазами. Вдруг он очнулся от задумчивости.

– Жендзян, боишься ты смерти? – спросил он.

– Кого? Какой смерти? Что вы говорите, ваша милость?

– Кто едет в Сечь, тот не возвращается.

– Так зачем же вы едете, ваша милость?

– Моя воля, и ты в это не вмешивайся; но тебя мне жаль, ты еще ребенок, хотя и пройдоха, – да там и пройдохе не уцелеть! Возвращайся в Чиги-рин, а потом в Лубны.

Жендзян почесал в затылке.

– Ваша милость, смерти я боюсь, кто ее не боится, тот Бога не боится, – его воля дать жизнь или смерть. А если вы добровольно лезете на смерть, так это грех ваш, а не мой, слуги, и я не отстану от вас. Я не холоп, а тоже шляхтич, хоть и бедный, а шляхтич.

– Я знал, что ты добрый слуга, но скажу тебе все же: если ты не хочешь ехать по доброй воле, то поедешь по приказанию. Иначе быть не может.

– Хоть убейте меня, ваша милость, я не поеду. Что же я – Иуда какой-нибудь, по-вашему, чтобы предавать вас на смерть?

Жендзян поднял руки к глазам и заревел навзрыд. Пан Скшетуский понял, что этим путем он ничего не сделает, а прикрикнуть на мальчика ему не хотелось, так как было жаль его.

– Слушай, – сказал он ему, – помощи ты мне никакой не окажешь, да ведь я и сам голову под меч совать не буду. Ты отвезешь письмо в Розлоги, а оно мне дороже жизни. Ты скажешь княгине и князьям, чтобы они сейчас же, без малейшего промедления перевезли панну в Лубны, иначе на них нападут мятежники, и сам присмотришь, чтобы так все и было. Я тебе даю важное поручение, достойное друга, а не слуги.

– Так пошлите кого-нибудь другого, с письмом всякий поедет!

– Кому я здесь могу довериться? Ты одурел! Повторяю тебе: спаси ты мне жизнь дважды, и тогда не окажешь мне большей услуги, потому что я мучаюсь, думая, что там может случиться, и от боли сердечной потом обливаюсь.

– Видно, надо ехать! Но, видит бог, так мне жаль вашу милость, что не утешило бы меня, если бы даже вы мне подарили вот этот пестрый пояс!

– Пояс твой, исполни только все как следует.

– Не хочу я и пояса, только бы ехать с вами.

– Завтра ты вернешься на чайке, которую пан Гродзицкий высылает в Чигирин, а потом без остановки и промедления отправишься в Розлоги. Ни княгине, ни панне не говори, что мне угрожает, только проси, чтобы они сейчас же ехали в Лубны, хоть бы без поклажи всякой. Вот тебе кошелек на дорогу, а письмо я сейчас напишу.

Жендзян упал в ноги наместнику.

– О, пане мой, неужели я никогда вас больше не увижу?

– Как бог даст, как бог даст, – ответил, поднимая его, наместник, – но только в Розлогах будь с виду весел. А теперь иди спать!

Остаток ночи пан Скшетуский провел в писании писем и горячей молитве, после которой слетел к нему ангел покоя. Ночь прошла, рассвет забелел за узким окном. Светало, розовые блики прокрадись в комнату.

На башне и в замке заиграли «вставать».

Вскоре Гродзицкий появился в комнате.

– Мосци-наместник, чайки готовы.

– И я готов, – спокойно сказал Скшетуский.

X

Легкие чайки мчались вниз по течению реки, унося молодого рыцаря и его судьбу. Благодаря высокому уровню воды пороги не представляли большой опасности. Миновали Сурский и Лоханный пороги, счастливая волна перенесла их через Воронову запруду, чуть-чуть задела дном челнока на Княжьем и Стрелецком, но не разбились и наконец увидели вдаль пену и водовороты страшного Ненасытца. Тут нужно было приставать к берегу и тащить лодки по земле. Работа тяжелая и длинная, отнимающая обычно целый день. К счастью, после частых переправ на берегу осталось множество колод, которые подкладывали под лодки, чтобы легче было тащить их по земле. Во всей окрестности и в степи не было ни души, на реке ни одной чайки; в Сечь могли плыть только те, которые пропустил пан Гродзицкий через Кудак, а он нарочно отрезал Запорожье от остального мира. Тишину нарушал только шум волн о скалы Ненасытца. Пока люди тащили чайки, пан Скшетуский любовался чудесами природы. Страшное зрелище предстало его глазам. Вся ширина реки была разделена семью скалистыми плотинами – черными, истерзанными напором волн, которые проломили в скалах как бы ворота и проходы, торчащие над водой. Река всей тяжестью воды напирала на эти плотины, разбивалась о них и, расшвыряв, вспенившись, старалась перескочить через них, как взбешенный конь. Но, отраженная еще раз, она, прежде чем хлынуть в отверстие, точно грызла скалы, в бессильном гневе клубилась чудовищными воронками, взвивалась фонтанами вверх, кипела, выла, как дикий зверь от усталости. Потом снова раздавался гул, точно залпы орудий, точно рев целой стаи волков. И при каждой плотине та же борьба, то же бешенство. Над пучиной кричали птицы, точно испуганные страшным зрелищем, между плотинами чернели мрачные тени скал, дрожавшие на воде и похожие на злых духов.

Люди, тащившие челноки, хотя и привыкли к этому зрелищу, но боязливо крестились и предостерегали наместника не подходить близко к берегу.

Было поверье, что кто слишком долго смотрит на Ненасытец, тот увидит что-то такое, от чего сойдет с ума, говорили также, что порою из водоворотов высовываются длинные черные руки и хватают неосторожного, который подойдет слишком близко, и тотчас страшный смех раздается над пучиной. Ночью запорожцы боялись даже перетаскивать лодки.

В «братство» на Низу не принимали того, кто один не проплыл в челноке через все пороги, но для Ненасытца делали исключение: его скалы никогда не покрывались водой. Об одном Богуне слепцы пели, будто он пробрался и через Ненасытец, но этому не верили.

Перетаскивание лодок заняло почти целый день, и солнце начинало заходить, когда наместник снова сел в свою лодку. Зато следующие пороги они миновали легко и наконец достигли «тихих низовых вод».

По дороге Скшетуский видел на Кучкасовом урочище огромный курган из белого камня, который князь приказал воздвигнуть в память своего пребывания в этих местах и о котором рассказывал Скшетускому пан Богуслав Машкевич в Лубнах. Отсюда было уже недалеко до Сечи, но поручик не хотел выезжать ночью в Чертомелицкий лабиринт и решил ночевать в Хортице.

Он хотел также встретить хоть кого-нибудь из запорожцев и предварительно дать знать в Сечь, что едет посол, а не кто-либо другой. Но Хортица казалась пустой, что немало удивило наместника, так как Гродзицкий говорил, что там всегда стоит казачий гарнизон для отражения татарских наездов. С несколькими людьми он сам отправился на разведку довольно далеко от берега, но весь остров обойти не мог, так как он был длинной более мили; ночь настала темная и ненастная, и он вернулся к чайкам, которые тем временем были вытащены на песок, где путники развели для ночлега огонь от комаров.

Большая часть ночи прошла спокойно. Казаки и проводники заснули у костров, бодрствовали только караульные, а с ними и наместник, который с отъезда из Кудака страдал бессонницей. Он чувствовал также, что его мучит лихорадка. Ему казалось минутами, что из глубины острова слышатся то шаги, то какие-то странные звуки, похожие на отдаленное блеяние коз. Но думал, что слух обманывает его.

Вдруг, уже перед самым рассветом, к нему подошла какая-то темная фигура. Это был один из караульных.

– Пане поручик, идут! – торопливо сказал он.

– Кто такие?

– Должно быть, низовцы, их около сорока.

– Хорошо! Это немного! Разбудить людей! Подложить камыши в огонь!

Казаки сейчас же вскочили на ноги. Пламя костра взвилось кверху, осветив чайки и горсть солдат наместника. Караульные тоже сбежались. Между тем неровные шаги приближающейся кучки людей слышались все яснее, на некотором расстоянии они замолкли. Какой-то голос спросил с угрозой:

– Кто на берегу?

– А вы кто? – спросил вахмистр.

– Отвечай, вражий сын, не то из самопалов спросим!

– Его светлости князя Еремии Вишневецкого посол к кошевому атаману! – отчетливо сказал вахмистр.

Голоса в толпе умолкли, – должно быть, там происходило короткое совещание.

– Подите сюда! – крикнул вахмистр. – Не бойтесь! Послов не бьют, но и послы не бьют.

Снова слышались шаги, и через минуту из темноты выступило несколько десятков человек. По смуглой коже, небольшому росту и кожухам, вывернутым шерстью вверх, поручик сразу узнал, что большая часть их – татары, казаков там было всего несколько человек. В голове Скшетуского как молния мелькнула мысль, что если татары на Хортице, то Хмельницкий, должно быть, вернулся из Крыма.

Впереди толпы стоял старый запорожец огромного роста, с диким и свирепым лицом. Он подошел ближе к костру и спросил:

– А кто здесь посол?

Запорожец, видно, был пьян: кругом распространился сильный запах водки.

– Кто здесь посол? – повторил он.

– Я! – гордо ответил Скшетуский.

– Ты?

– Я не брат тебе, чтобы ты мне тыкал!

– Знай, грубиян, обхождение, – вмешался вахмистр, – говорят: «ясновельможный пан посол».

– На погибель вам, чертовы дети! Чтоб вам Серпегова смерть, ясновельможные сыны! А зачем к атаману?

– Не твое дело! Знай одно: если хочешь сносить голову, веди к атаману. В эту минуту из толпы выдвинулся другой запорожец.

– Мы тут по воле атамана, – сказал он, – стережем, чтоб никто из ляхов не подходил, а кто сунется, того велено вязать и вести к нему! Это мы и сделаем!

– Кто едет добровольно, того ты не свяжешь!

– Свяжу – таков приказ!

– А знаешь ты, холоп, что значит особа посла? Знаешь, кого я представляю?

Старый великан сказал:

– Отведем посла, да только за бороду – вот так! – И с этими словами он протянул руку к бороде наместника. Но в ту же минуту застонал и, как пораженный громом, свалился на землю.

Скшетуский рассек ему голову чеканом.

– Коли! Коли! – завывали в толпе яростные голоса.

Княжеские казаки бросились на помощь своему начальнику, загремели самопалы, и крики: «Коли! Коли!» – слились с лязгом железа. Началась беспорядочная битва. Затоптанные в суматохе костры погасли, и тьма объяла сражающихся. Вскоре обе стороны так сблизились, что ножи, кулаки и зубы заменили сабли.

Вдруг в глубине острова раздались крики многочисленных голосов – к нападающим подошла помощь. Еще минута – и она бы опоздала, так как казаки Скшетуского брали верх.

– К лодкам! – крикнул громовым голосом наместник.

Его приказание было исполнено в мгновение ока. Но, к несчастью, чайки так глубоко врезались в песок, что их нельзя было сразу столкнуть в воду. Между тем неприятель с бешеным бросился к берегу.

– Огня! – скомандовал пан Скшетуский.

Залп из мушкетов сразу задержал нападающих, которые смешались, сбились в кучу и отступили в беспорядке, оставив на песке несколько тел; некоторые из них конвульсивно вздрагивали, точно вытасченная из воды рыба, брошенная на берег.

В это время перевозчики с помощью казаков и весел изо всех сил старались столкнуть челноки в воду, но тщетно.

Неприятель начал атаку издали. Шлепанье пуль о воду смешалось со свистом стрел и стонами раненых.

Татары с воплем «Алла!», подзадоривая друг друга, пронзительно кричали; им отвечали крики казаков: «Коли! Коли!» – и спокойный голос пана Скшетуского, все чаще повторявший команду:

– Огня!

Бледный рассвет озарил место побоища. Со стороны суши виднелась толпа казаков и татар; одни из них прицеливались из пищалей, другие, откинувшись назад, натягивали тетивы луков. Со стороны реки – две дымящиеся чайки, освещаемые постоянными выстрелами.

В одном из челноков стоял пан Скшетуский, выше всех, гордый, спокойный, с булавой поручика в руке и непокрытой головой, так как татарская стрела сорвала с него шапку.

Вахмистр подошел к нему и шепнул:

– Не выдержим, пане, – их много!

Но наместник теперь думал только о том, как бы своей кровью поддержать честь посольства, не допустить поругания своего сана и умереть не без славы. А потому, когда казаки сделали себе прикрытие из мешков с провизией, из-за которых они обстреливали неприятеля, он оставался на виду под выстрелами.

– Ладно! – сказал он. – Погибнем до единого!

– Погибнем, батько! – крикнули казаки.

– Огня!

И чайки снова задымились. Из глубины острова начали прибывать все новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие разделились на две части. Одна поддерживала огонь, другая, состоявшая более чем из двухсот казаков и татар, только ждала удобной минуты, чтобы ринуться в рукопашный бой. В это самое время из тростников выплыли четыре лодки, готовые броситься на наместника с тылу и с боков.

Стало уже совсем светло. Только дым тянулся длинными полосами в спокойном воздухе и заслонял место побоища. Наместник велел двадцати казакам обернуться к нападающим лодкам, которые с помощью весел неслись с быстротой птиц по спокойной воде реки. Огонь, направленный в татар и казаков, наступавших с острова, значительно ослабел.

А они только этого и ждали.

Вахмистр снова подошел к наместнику.

– Пανε! Татары берут кинжалы в зубы и сейчас бросятся на нас.

И действительно около трехсот ордынцев с саблями в руках, с ножами в зубах готовились к атаке. С ними было несколько запорожцев, вооруженных косами.

Атака должна была начаться сразу со всех сторон, так как лодки нападавших уже подплыли на расстояние выстрела. Борты их окутались дымом. Пули как град посыпались на солдат наместника. Обе чайки наполнились стонами. Через несколько минут половина людей Скшетуского пала, остальные еще отчаянно защищались. Лица их почернели от дыма, руки устали, в глазах темнело, кровь заливала их, стволы ружей начали жечь ладони. Большая часть их была ранена.

Страшный вой и крик прорезали воздух. Это ордынцы бросились в атаку.

Дым, под стремительным напором всей этой массы, рассеялся и открыл две чайки наместника, покрытые черной толпой татар, точно два лошадиных трупа, раздираемых стаями волков. Толпа напирала, клубилась, выла, карабкалась и, казалось борясь сама с собою, погибала. Несколько казаков давали еще отпор, а под мачтой стоял Скшетуский с окровавленным лицом, со стрелой, вонзившейся в левое плечо, и бешено защищался. Он казался великаном среди окружавшей его толпы; сабля его мелькала как молния. Ударам его отвечали вой и стоны. Вахмистр с другим казаком защищали его по бокам. Минутами толпа с ужасом отступала перед этой тройкой, но, подталкиваемая сзади, снова бросалась вперед и умирала под ударами сабель.

– Живых взять к атаману! – кричали голоса в толпе. – Сдавайся!

Но Скшетуский сдавался уже только Богу: он вдруг побледнел, зашатался и рухнул на дно чайки.

– Прощай, батько! – крикнул с отчаянием вахмистр. Но через минуту упал и он.

Движущаяся масса совершенно покрыла собой чайки.

XI

В хате войскового старшины, в предместье Гассан-паши, в Сечи, сидели за столом два запорожца, угощаясь перегнанной через просо водкой, которую они без конца черпали из деревянного бочонка, стоявшего посреди стола. Один из них, почти совсем дряхлый старик, Филипп Захар, и был сам старшина, другой – Антон Татарчук, атаман Чигиринского куреня, человек лет сорока, высокий, сильный, с диким выражением лица и раскосыми татарскими глазами. Оба говорили вполголоса, точно опасаясь, как бы их кто-нибудь не подслушал.

– Значит, сегодня? – спросил старшина.

– Чуть не сейчас, – отвечал Татарчук. – Ждут только кошевого да Тугай-бея, который с самим Хмельницким уехал в Базавлук, где стоит орда. Казачество уже собралось в майдане, а куренные еще до вечера соберутся на раду. К ночи все будет ведомо.

– Гм! Может, плохо будет! – проворчал старый Филипп Захар.

– Слушай, старшина, а ты видел, что было письмо и ко мне?

– Еще бы не видеть, коли я сам относил письма кошевому, а я человек грамотный. У ляха нашли три письма: одно самому кошевому, другое – тебе, а третье – молодому Барабану. Все уж в Сечи знают об этом.

– А кто писал? Не знаешь?

– Кошевому писал князь, потому на письме была печать, а кто к вам. – неизвестно.

– Сохрани бог!

– Если тебя не зовут там открыто другом ляхов, то ничего не будет.

– Сохрани бог! – повторил Татарчук.

– Видно, чуешь недоброе!

– Тьфу! Ничего я не чую.

– Может, кошевой все письма изорвет, ведь это и его касается: к нему тоже было письмо, как и к вам.

– Может!

– А если чуешь что, тогда... Старшина еще больше понизил голос:

– Уходи!

– Да как? И куда? – спросил с беспокойством Татарчук. – Кошевой на всех островах стражу расставил, чтобы никто не мог к ляхам пробраться и дать им знать, что тут делается. На Базавлуке сторожат татары. Тут рыба не проскочит, птица не пролетит.

– Так скройся в самой Сечи, где можешь.

– Найдут! Разве ты меня спрячешь на базаре между бочками? Ведь ты мне родственник!

– И родного брата не стал бы прятать! А боишься смерти, так напейся: пьяный ничего не почувствуешь.

– А может, в письмах ничего нет?

– Может.

– Вот беда! Вот беда! – сказал Татарчук. – Ничего я не чувствую за собой. Я – добрый казак, ляхам враг! А если даже в письмах и нет ничего, то, черт знает, что лях скажет перед радой? Он может погубить меня.

– Это сердитый лях, он ничего не скажет.

– Был ты сегодня у него?

– Был. Помазал ему раны дегтем, влил в горло горилки с золой. Будет здоров! Сердитый лях! Говорят, прежде чем его взяли на Хортице, татар нарезал, как свиней. Ты за ляха будь спокоен.

Унылый звук котлов, в которые били на кошемом майдане, прервал дальнейший разговор. Татарчук, услышав этот звук, вздрогнул и вскочил на ноги. Страшное беспокойство отразилось на его лице.

– Зовут на раду! – сказал он, ловя губами воздух. – Сохрани бог! Ты, Филипп, не говори, о чем я тут с тобой болтал. Сохрани бог!

Сказав это, Татарчук схватил бочонок с водкой, наклонил его обеими руками ко рту и пил, пил, точно хотел напиться до смерти.

– Пойдем! – сказал старшина.

Они вышли. Предмесье Гассан-паши отделялось от майдана только валом, окружавшим, собственно, кош, и воротами с высокой башней, на которой виднелись жерла пушек. В середине предмесья стоял дом старшины и хаты крамных¹ атаманов, а вокруг довольно обширной площади помещались лавки. Это были, в общем, жалкие постройки, сколоченные из дубовых бревен, доставляемых в изобилии Хортицей и связанных тростником и камышом. Хаты же, не исключая и хаты старшины, похожи были скорее на шалаши, так как одни только крыши возвышались над землей. Крыши эти были черные и закопченные, потому что, когда в хатах разводили огонь, дым выходил не только в верхнее отверстие, но и сквозь всю кровлю; тогда хату можно было принять за кучу ветвей и камыша, в которых гонят смолу. Здесь царила вечная темнота, а потому внутри постоянно жгли лучину и дубовые щепки.

Лавок было несколько десятков, и они делились на куренные, то есть собственность отдельных куреней, и гостиные, в которых в мирное время торговали татары и валахи: одни – кожей, восточными тканями, оружием и всякого рода добычей, другие – преимущественно вином. Но гостиные лавки редко бывали заняты, так как в этом разбойничьем гнезде покупка чаще всего превращалась в разбой, от которого не могли удержать толпу ни старшина, ни крамные атаманы. Между лавками стояло также тридцать восемь куренных шинков, а перед ними лежали всегда среди разного сора, щепок, дубовых колод и лошадиного навоза мертвецки пьяные запорожцы, одни в беспробудном сне, другие с пеной у рта, в судорогах или припадках белой горячки; менее пьяные завывали казацкие песни, сплевывали, дрались, целовались, проклиная казацкую судьбу, горяя над казацкой долей и топча ногами головы и груди лежащих. Трезвость требовалась только тогда, когда шли в поход на Русь или на татар, и тогда всех принимавших участие в походе за пьянство карали смертью. Но в обыкновенное время, в особенности на Крамном базаре, почти все были пьяны: и старшина, и крамные³³ атаманы, и продавец, и покупатель. Кислый запах неочищенной водки в соединении с запахом смолы, рыбы, дыма и конских шкур вечно насыщал воздух всего предмесья, которое пестротой своих лавок напоминало турецкое или татарское местечко. Продавалось здесь все, что удавалось награть в Крыму, Валахии или на Анатолийском побережье: яркие восточные ткани, парча, сукно, ситец, полотно и дерюга, потрескавшиеся железные и медные пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкая бакалея, церковная утварь, медные полумесяцы, сорванные с минаретов, и золоченые кресты³⁴, снятые с церквей, порох, холодное оружие, палки для пик и седла. Среди этих предметов и красок вертелись люди, одетые в лохмотья самых разнообразных одежд, летом полунагие, всегда полудикие, закопченные дымом, черные, испачканные в грязи, искушенные огромными комарами, которые мириадами носились над Чертомеликом, и, как было сказано раньше, вечно пьяные.

В эту минуту в предмесье Гассан-паши было еще больше народу, чем всегда: все лавки и шинки запирались и все спешили на сечевой майдан, где должна была происходить рада. Филипп Захар и Антон Татарчук шли вместе с другими, но последний мешкал и шел лениво,

³³ Крам – лавка.

³⁴ Запорожцы во время своих нападений не щадили ничего и никого. До Хмельницкого в Сечи не было совсем церкви: первую построил Хмельницкий; там никого не спрашивали о религии, и все, что говорят о религиозности низовцев, – сказки.

опережаемый толпой. Тревога на его лице отражалась все сильнее. Они прошли уже мост, ведущий через ров, потом ворота и очутились наконец на обширном майдане, окруженном тридцатью восемью большими деревянными постройками, это были курени, нечто вроде военных казарм, где жили казаки. Курени эти были одинаковой величины и ничем не отличались друг от друга, разве только названиями разных украинских городов, имя которых носили и полки. В одном углу майдана возвышался радный дом; в нем заседали атаманы во главе с кошевым, а толпа, так называемое «товарищество», совещалась под открытым небом, то и дело посылая делегации к старшинам, а порою и насильно врываясь в дом и терроризируя раду.

На майдане давка была страшная: кошевой незадолго перед этим созвал в Сечь все войска, рассеянные по островам, лугам и речкам, и «товарищество» было многочисленнее, чем всегда. Солнце уже склонялось к западу, а потому заранее зажгли несколько бочек смолы; тут и там стояли также бочки с водкой, которую каждый курень выкатывал для себя отдельно и которая придавала немало энергии радам. За порядком в куренях следили есаулы, вооруженные здоровыми дубинами, чтобы унимать совещающихся, и пистолетами для защиты собственной жизни, которая часто подвергалась опасностям.

Филипп Захар и Татарчук вошли прямо в радный дом, так как один в качестве старшины, а другой – куренного атамана имели право заседать между казацкими старшинами. В радной комнате стоял только один небольшой стол, за которым сидел войсковой писарь. Для атаманов и кошевого места были вдоль стен на разостланных шкурах. Но пока места еще не были заняты. Кошевой ходил большими шагами по комнате, а куренные, собравшись небольшими группами, тихо разговаривали, изредка прерывая разговор громкими ругательствами. Татарчук заметил, что его знакомые и даже приятели делают вид, что не замечают его; он сейчас же подошел к молодому Барабашу, который был приблизительно в одинаковом с ним положении. На них смотрели исподлобья, на что молодой Барабаш не обращал особенного внимания, так как не понимал, в чем дело. Это был человек необыкновенной красоты и необыкновенной силы, которой он и был обязан званием куренного атамана, ибо по всей Сечи славился своей глупостью, доставившей ему даже прозвище «атамана-дурня», и привилегией вызывать смех среди старшин каждым своим словом.

– Мы, может, скоро пойдем в воду с камнем на шее! – шепнул ему Татарчук.

– Почему? – спросил Барабаш.

– А разве ты не знаешь о письмах?

– Трастя его маты мордовала! Разве я писал письма?

– Погляди, как все смотрят на нас исподлобья.

– Колы б я которого в лоб, тот не смотрел бы: сразу б вытекли глаза! Раздавшиеся на улице крики указывали на то, что там происходит нечто

необыкновенное. Двери радной избы широко раскрылись, и в комнату вошел Хмельницкий с Тугай-беем. Их и приветствовали так радостно. Несколько месяцев тому назад Тугай-бей, как самый воинственный и страшный из мурз, был предметом страшной ненависти в Сечи, а теперь «товарищество» при виде его подбрасывало вверх шапки, считая его добрым другом Хмельницкого и запорожцев.

Тугай-бей вошел первым, за ним Хмельницкий с булавою в руке, как гетман запорожского войска. Звание это он получил после возвращения из Крыма с полученным от хана подкреплением. Толпа подхватила его тогда на руки и, разбив войсковую сокровищницу, поднесла ему булаву, хоругвь и печать, которые обыкновенно носили перед гетманом. Он очень изменился. Видно было, что он олицетворял собой всю страшную силу Запорожья. Это был уже не тот обиженный Хмельницкий, который скрылся в Сечь через Дикие Поля, а Хмельницкий – гетман, кровавый дух, исполин, мститель за личную обиду, вымещающий ее на миллионах.

Однако он не порвал цепей, а, наоборот, надел новые, еще более тяжелые. Это видно было по его обращению с Тугай-беем. Запорожский гетман в самом сердце Запорожья зани-

мал второе место после татарина, покорно переносил его спесивое и нестерпимо презрительное обхождение. Это были отношения вассала к господину. Так и должно было быть. Всем своим значением у казаков Хмельницкий был обязан татарам и ханской милости, представителем которой был дикий и бешеный Тугай-бей. Но Хмельницкий сумел мирить гордость, бушевавшую в груди, с покорностью, соединять хитрость с отвагой. Он был и львом, и лисицей, и орлом, и змеей.

В первый раз со времени возникновения казачины татарин чувствовал себя в Сечи господином, но такие уж пришли времена. «Товарищество» бросало вверх свои шапки при виде басурмана. Такие уж настали времена!

Совет начался. Тугай-бей сел посредине, на самой высокой куче шкур и, поджав под себя ноги, стал грызть подсолнухи, выплевывая шелуху на середину избы. С правой его стороны сел Хмельницкий с булавою, с левой – кошевой, а остальные атаманы и депутация от «товарищества» уселись у стен. Разговор умолк, только снаружи слышался говор и глухой, похожий на ропот волн, шум толпы, совещающейся под открытым небом.

Хмельницкий начал:

– Панове братья! По милости и благорасположению крымского царя, господина многих народов, брата небесных светил, а также с разрешения нашего всемилостивейшего короля польского Владислава и по доброй воле отважных запорожских войск, уверенные в нашей невинности и справедливости Божией, – идем мы мстить за страшные и жестокие обиды, которые по-христиански терпели мы, пока могли, от коварных ляхов, от комиссаров, от старост, от экономов, от всей шляхты и от жидов. Над этими обидами вы, Панове братья, и все запорожское войско пролили немало слез и мне дали булаву, чтобы я вступился за всех нас, безвинно обиженных, и за все запорожское войско. Считая это великой милостью вашей, панове братья, я отправился к его величеству хану просить помощи, которую он и дал нам. Но будучи готовым исполнить волю вашу, немало опечален я вестью, что между нами есть изменники, которые с коварными ляхами входят в сношения и доносят им о наших приготовлениях к войне; если это действительно так, то они должны быть наказаны, по вашей воле и усмотрению, панове братья. А мы просим вас выслушать письма, которые привез от недруга нашего, князя Вишневецкого, посол его, и не посол, а шпион, который хотел выведать все о наших приготовлениях и о войске друга нашего Тугай-бея. Теперь обсудите, должен ли он быть наказан так же, как и те, которым он привез письма, о чем кошевой атаман, как верный друг мой, Тугай-бей и всего запорожского войска, сейчас же нас уведомил.

Хмельницкий замолк; шум за окнами все усиливался; войсковой писарь встал и начал читать сначала письмо князя к кошевому атаману, начинавшееся словами: «Мы, Божией милостью, князь и господин над Лубнами, Хоралом, Прилуками, Гадячем и прочая, воевода русский и прочая, староста и прочая». Письмо это было чисто деловое: князь, слыша, что казацкие войска ссылаются с «лугов», спрашивал, правда ли это, и увещевал его не делать этого ради спокойствия христианских земель, а Хмельницкого, буде тот начнет возмущать Сечь, выдать комиссарам, которые будут этого требовать. Другое письмо было от Гродзицкого тоже к кошевому атаману; третье и четвертое – от Зацвилюховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Ни в одном из них не было ничего, что могло бы возбудить подозрение против тех, кому они были адресованы. Зацвилюховский только просил Татарчука взять под свою опеку подателя письма и исполнить все, о чем посол будет просить.

Татарчук передохнул свободнее.

– Что вы скажете, Панове, об этих письмах? – спросил Хмельницкий. Казаки молчали. Все совещания, пока водка не разгорячила голов, всегда

начинались с того, что ни один из атаманов не хотел заговорить первым. Как люди простые, но хитрые, они делали это главным образом из боязни сказать какую-нибудь глупость, из-за которой их могли бы поднять на смех или дать им на всю жизнь какое-нибудь язвительное

прозвище. В Сечи на фоне простоватости и грубости был очень развит дух ядовитого юмора, и всем он внушал страх.

Казаки молчали, Хмельницкий начал снова:

– Кошевой атаман – наш брат и верный друг. Я верю ему, как самому себе, и кто скажет противное, тот сам замышляет измену. Атаман – старый друг и солдат!

И, сказав это, он встал и поцеловал кошевого.

– Панове братья, – сказал на это кошевой, – я сзываю войска, а гетман пусть ведет их: что касается посла, то раз его послали ко мне – значит, он мой, а раз мой, то я дарю его вам.

– Ну, панове депутаты, – сказал Хмельницкий, – поклонитесь атаману, ибо он справедливый человек, и скажите «товариществу», что если здесь и есть изменники, то не он изменник; он первый расставил всюду стражу и сам велел ловить изменников, которые вздумали бы уйти к ляхам. Вы, панове-депутаты, скажите, что он не изменник, что он лучше нас всех!

Панове-депутация поклонилась в пояс сначала Тугай-бею, который все время с величайшим равнодушием грыз свои подсолнухи, а потом Хмельницкому и кошевому и вышла.

Через минуту радостные крики, раздавшиеся под окном, дали знать, что депутация исполнила поручение.

– Да здравствует наш кошевой! Да здравствует кошевой! – кричали охрипшие голоса с такой силой, что стены дрожали до основания.

В то же время раздалась выстрелы из самопалов и пищалей. Депутация вернулась и снова села в углу.

– Панове братья! – начал Хмельницкий, когда крики за окном немного утихли, – вы умно рассудили, что кошевой – человек справедливый. Но если атаман не изменник, то кто же изменник? У кого есть друзья между ляхами, с кем они входят в сношения, кому пишут письма? Кому поручают особу посла? Кто изменник?

Говоря это, Хмельницкий все больше повышал голос и злое кривило глаза в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно желая указать на них.

В комнате поднялся шум, несколько голосов крикнуло: «Татарчук и Барабаш!» Некоторые из куренных встали с мест; среди депутатов послышались крики: «Погибель им!»

Татарчук побледнел, а молодой Барабаш стал обводить изумленными глазами присутствующих. Ленивый ум его силился угадать, в чем его обвиняют; наконец он сказал:

– Не буде собака мясо исты!

Сказав это, он залился идиотским смехом, а за ним и другие. И вдруг большая часть куренных начала дико хохотать сама не зная чему.

За окнами слышались крики более и более громкие: видно, водка уже начала туманить головы. Рокот человеческого моря усиливался с каждой минутой.

Антон Татарчук, обращаясь к Хмельницкому, сказал:

– Что я вам сделал, пане гетман запорожский, что вы требуете моей смерти? В чем моя вина? Комиссар Зацвилюховский написал мне письмо, тай що? Ведь и князь писал кошевому! А разве я получил письмо? Нет! А если бы получил, то что бы я сделал? Пошел бы к писарю и велел бы ему прочесть, так как сам ни читать, ни писать не умею. И все вы знали бы, что мне было написано. А ляха я и в глаза не видел. Разве я изменник? Эх, братья запорожцы! Татарчук ходил с вами и в Крым; а как ходили в Валахию, ходил и он в Валахию; как ходили под Смоленск, ходил и он под Смоленск; с вами, добрыми молодцами, он бился, с вами, добрыми молодцами, он жил и проливал кровь, и голодал, – значит, он не лях, не изменник, а казак, ваш брат. А если пан гетман требует его смерти, то пусть скажет – за что требует? Что я ему сделал? В чем схитрил? А вы, братья, помилуйте и судите справедливо!

– Татарчук – добрый молодец! Татарчук – справедливый человек! – отозвалось несколько голосов.

– Ты, Татарчук, добрый молодец! – сказал Хмельницкий. – Я на твоей смерти не настаиваю: ты мне друг и не лях, а казак и наш брат. Если бы лях был изменником, я бы не печалился, не плакал, но если изменник мой друг, то у меня тяжело на сердце и жаль доброго молодца. А коли ты бывал и в Крыму, и в Валахии, и под Смоленском, то еще горше твой грех, что ты хотел выдать ляхам сведения о нашем войске. Тебе писали, чтобы ты исполнил все, что бы ни потребовал посол, а скажите, панове братья, чего может потребовать лях? Не смерти ли моей, смерти моего друга Тугай-бея и гибели запорожского войска? Ты виновен, Татарчук, и ничего другого не докажешь. А Барабашу писал дядя его, черкасский полковник, друг Чаплинского и ляхов друг, который прятал у себя королевские привилегии, чтобы они не достались запорожскому войску. Если так – а я Богом клянусь, что это так, а не иначе, – то вы оба виновны. Просите помилования у атаманов, и я с вами буду просить, хотя вина ваша велика и измена явная.

Между тем со двора долетал уже не шум и не говор, а точно рокот бури. «Товарищество» хотело знать, что делается в радной избе, и выслало новую депутацию.

Татарчук почувствовал, что он погиб. Теперь он вспомнил, что неделю назад он подал голос против отдачи булавы Хмельницкому и против союза с татарами. Холодный пот выступил у него на лбу: он понял, что спасения нет...

Что касается Барабаша, то всем было ясно, что, губя его, Хмельницкий хотел отомстить старому черкасскому полковнику, который горячо любил своего племянника.

Но Татарчук не хотел умирать. Не бледнел он ни перед саблей, ни перед пулей, но смерть, которая его ожидала, ужасала его. Пользуясь минутной тишиной, наставшей после слов Хмельницкого, он отчаянно крикнул:

– Во имя Христа! Братья атаманы, други сердечные! Не губите невинного! Тож я ляха не видел, не говорил с ним. Помилуйте, братья! Я не знаю, что ему нужно было от меня! Спросите у него сами. Клянусь Христом Спасом, Святой Пречистой, святым Николаем Чудотворцем, святым Михаилом Архангелом, что вы хотите погубить невинного!

– Привести сюда ляха! – крикнул войсковой старшина.

– Ляха сюда, ляха! – кричали куренные.

Началась суматоха; одни бросались в соседнюю избу, где был заперт пленник, чтобы привести его на раду, другие – грозно двинулись к Татарчуку и Барабашу. Атаман миргородского куреня Гладкий первый крикнул: «Погибель ему!» Депутаты подхватили этот крик, а Чарнота бросился к дверям и, отворив их, крикнул собравшейся толпе:

– Панове братья и товарищи! Барабаш и Татарчук – изменники! Погибель им!

Толпа ответила страшным воем. В избе началось замешательство. Все куренные встали со своих мест. Одни кричали: «Ляха, Ляха!» – другие старались унять шум, как вдруг двери от напора толпы раскрылись настежь, и в избу ввалилась толпа совещающихся на дворе. Опьяненные бешенством, страшные люди наполнили избу, они скрежетали зубами и кричали, размахивая руками и распространяя запах водки.

– Смерть Татарчуку и погибеть Барабашу! Давайте изменников! На майдан их! – кричали пьяные голоса.

– Бей их! Бей! – И сотни рук сразу протянулись к несчастным жертвам.

Татарчук не сопротивлялся, он только стонал, но молодой Барабаш стал защищаться со страшной силой. Он понял наконец, что его хотят убить; страх, отчаяние и бешенство отражались на его лице; на губах выступала пена, а из груди вырвался животный крик. Он дважды вырывался из рук своих палачей, и дважды их руки хватали его за плечи, за грудь, за бороду, за чуб. Он метался, кусался, рычал, падал на землю и снова подымался, окровавленный, страшный. На нем разорвали платье, вырвали чуб, выбили глаз, и, наконец, прижав к стене, сломали ему руку. Тогда он упал. Палачи схватили его за ноги и вместе с Татарчуком потащили на майдан. Тут при свете горящих смоляных бочек и костров началась настоящая пытка. Несколько тысяч людей бросились на осужденных и стали рвать их на куски, воя и борясь друг с другом за

право подступиться к жертве. Их топтали ногами и вырывали кусками мяса. Толпа теснилась вокруг них в страшном, судорожном неистовстве обезумевшей массы. По временам окровавленные руки то поднимали вверх два бесформенных куска мяса, уже непохожие на человеческие тела, то снова бросали их на землю. Стоявшие дальше кричали: одни, чтобы жертвы бросить в воду, другие – чтобы посадить их в бочки с горячей смолой. Пьяные начали драться, совсем обезумев, толпа зажгла две бочки с водкой, которые озарили эту адскую сцену дрожащим голубоватым светом. А с неба на нее глядел тихий и ясный месяц.

Так «товарищество» карало своих изменников. А в радной избе, после того как казаки выволокли Татарчука и молодого Барабаша, снова все утихло; атаманы заняли прежние места у стен; из соседней избы привели узника. Тень падала на лицо его, так как огонь в очаге погас, и в полумраке виднелась только его высокая фигура, державшаяся прямо и гордо несмотря на то, что руки были связаны. Но Гладкий подбросил в огонь вязку лучин, и через минуту взвившееся вверх пламя облило ярким светом лицо узника, повернувшегося к Хмельницкому.

Увидев его, Хмельницкий вздрогнул.

Узник был пан Скшетуский.

Тугай-бей выплюнул шелуху подсолнухов и пробормотал по-малоросски:

– Я того ляха знаю, он був у Крыму!

– Погибель ему! – крикнул Гладкий.

– Погибель! – повторил за ним и Чарнота.

Хмельницкий справился с первым впечатлением. Он только повел глазами на Гладкого и Чарноту, которые сейчас же умолкли от этого взгляда, и, обратившись к кошевому, сказал:

– И я его знаю!

– Ты откуда? – спросил кошевой Скшетуского.

– Я ехал послом к тебе, кошевой атаман, но в Хортице напали на меня разбойники и, вопреки обычаю, чтимым даже самыми дикими народами, избили моих людей, а меня, не глядя на звание мое и сан мой, изранили, оскорбили и привели сюда, как пленника. Мой господин, его светлость князь Еремия Вишневецкий, припомнит тебе это, кошевой атаман!

– А зачем ты показал свое коварство? Зачем ты зарубил чеканом доброго молодца? Зачем побил у нас людей вчетверо больше, чем самих было вас? Ты ехал с письмом ко мне, чтобы выведать и донести обо всем ляхам? Мы ведь знаем, что у тебя были письма к изменникам запорожского войска, с которыми вы хотели сгубить нас; поэтому ты будешь принят не как посол, а как изменник, и как изменник справедливо наказан.

– Ошибаешься, кошевой атаман, и ты, мосци-гетман самозванный, – ответил Скшетуский, обращаясь к Хмельницкому. – Если я взял письма, то так делает каждый посол, который, едуци в чужую страну, берет у знакомых письма для передачи их знакомым. Ехал же я сюда с письмом князя не для вашей гибели, но для того, чтобы удержать вас от поступков, которые могут иметь тяжелые последствия для всей Речи Посполитой, а на вас и на все Запорожье навлечь бедствия. На кого вы подымаете безбожные руки? И против кого вы заключаете союз с неверными, вы, называющие себя защитниками христианства? Против короля, против шляхты и всей Польши! Вы изменники, а не я, и говорю вам, что если вы не загладите своей вины, – то горе вам! Давно разве были времена Павлюка и Наливайки? Разве вы уж забыли, как они были наказаны? Помните только, что терпение Польши истощилось и что меч висит над вашими головами.

– Ты врешь, вражий сын, чтобы вывернуться и уйти от смерти! – крикнул кошевой. – Но тебе не помогут ни твои угрозы, ни твоя латынь!

Остальные атаманы начали греметь саблями и скрежетать зубами, Скшетуский же поднял голову еще выше и продолжал:

– Не думай, атаман, что я боюсь смерти, что доказываю свою невинность или защищаю жизнь. Я – шляхтич и подлежу суду только равных мне, а здесь я стою не перед судьями, а перед

разбойниками, не перед шляхтой, а перед холопами, не перед рыцарями, а перед варварами, и хорошо знаю, что не уйду от смерти, которой вы переполните чашу своих злодеяний. Передо мной пытка и смерть, но за мной мощь и месть всей Речи Посполитой, при имени которой вы все дрожите.

Гордая осанка, торжественность речи и упоминание о Речи Посполитой произвели впечатление. Атаманы молча переглядывались. Одно мгновение им казалось, что перед ними стоит не пленник, а грозный посол могущественного народа.

Тугай-бей пробормотал:

– Сердитый лях!

– Сердитый лях! – повторил Хмельницкий.

Сильный стук в двери прервал дальнейший разговор. На майдане пытка Татарчука и Барабаша кончилась, и «товарищество» высылало новую депутацию.

В избу вошло несколько казаков, окровавленных, покрытых потом и пьяных. Они стали в дверях и, протянув руки, еще дымящиеся кровью, начали говорить:

– Товарищество кланяется панам-старшинам! – Они все поклонились в пояс. – И просят выдать ему ляха, «щоб з ним поиграты, як з Татарчуком и Барабашем».

– Выдать им ляха! – крикнул Чарнота.

– Не выдавать! – кричали другие. – Пусть ждут! Он – посол.

– Погибель ему! – отозвалось несколько голосов.

Затем все утихло, ожидая, что скажут кошевой и Хмельницкий.

– Товарищество просит, а нет, так само возьмет!

Казалось, для Скшетуского уже не было спасения, но Хмельницкий нагнулся вдруг к Тугай-бею.

– Это твой пленник! – шепнул он ему. – Его взяли татары, он твой! Неужели ты позволишь его взять? Это богатый шляхтич, а кроме того, Ерема заплатит за него золотом.

– Давайте ляха! – все грознее и грознее кричали казаки. Тугай-бей потянулся на своем сиденье и встал.

Лицо его мгновенно изменилось, глаза расширились, как у рыси, а зубы сверкнули. Вдруг он, как тигр, подскочил к казакам, требовавшим пленника.

– Прочь, хамы! Псы неверные! Рабы! Свиноеды! – закричал он, хватая за бороды двух запорожцев и бешено рванув их. – Прочь, пьяницы, нечистые животные, гады плюгавые! Вы пришли у меня ясырь отнять? Так вот вам, хамы! – И с этими словами он начал таскать за бороды и других запорожцев и, наконец свалив одного, стал топтать его ногами. – Ниц, рабы, не то я вас всех в ясырь возьму, а всю вашу Сечь ногами истопчу, как вас! Всю выжгу и вашей падалю покрою!

Депутаты отступили в ужасе – страшный союзник показал, на что он способен.

И странное дело. В Базавлуке было всего шесть тысяч ордынцев. Правда, за ними стоял еще хан со всей своей силой, но в самой Сечи было тысяч пятнадцать молодцов, кроме тех, которых Хмельницкий уже выслал на Томаковку. А все же ни один протестующий голос не раздался против Тугай-бея.

Казалось, что способ, каким грозный мурза защитил пленника, был единственно действительным и сразу убедил запорожцев, которым татарская помощь в это время была необходима.

Депутаты выбежали на майдан, крича толпе, что ей не удастся поиграть ляхом, так как он пленник Тугай-бея, а Тугай-бей «дуже рассердывся». «Бороды нам повыдергивал!» – кричали они. На майдане сейчас же стали кричать: «Тугай-бей рассердывся, рассердывся». Толпа жалобно вторила: «Рассердывся, рассердывся», а несколько минут спустя чей-то пронзительный голос уже распевал около костра:

Гей, гей,
Тугай-бей
Рассердывся дуже!
Гей, гей,
Тугай-бей,
Не сердыся, друже!

Тысячи голосов тотчас подхватили: «Гей, гей, Тугай-бей», – и вот сложилась одна из тех песен, которые потом, казалось, вихрем пролетали по всей Украине. Но вдруг и песня оборвалась, – через ворота, ведущие в предместье Гассан-паши, вбежало несколько казаков, которые, расталкивая толпу с криками: «С дороги, с дороги!», что есть духу летели к радной избе. Атаманы уже собирались уходить, как вдруг новые гости вбежали в избу.

– Письмо к гетману! – кричал старый казак.

– Откуда вы?

– Мы – чигиринцы. День и ночь с письмом идем. Вот оно!

Хмельницкий взял письмо из рук казака и начал читать. Лицо его вдруг изменилось, и, прервав чтение, он произнес громким голосом:

– Панове атаманы! Великий гетман высылает на нас с войском сына своего Стефана. Война!

В избе поднялся страшный шум: неизвестно – радости или ужаса. Хмельницкий вышел на середину избы, подбоченился, глаза его метали искры, а голос звучал грозно и повелительно:

– Куренные, по куреням! Выстрелить из пушек на башне! Разбить бочки с водкой! Завтра чуть свет в поход!

С этой минуты в Сечи прекращались и общая рада, и совещания атаманов, и сеймы, и влияние товарищества. Хмельницкий принимал в руки неограниченную власть. За минуту перед этим, опасаясь, что разъяренное товарищество не выслушает его голоса, он должен был хитростью спасти пленника и хитростью же сгубить нежелательных ему людей. Теперь же он был господином жизни и смерти всех. Так, впрочем, бывало всегда. До похода и после него, хотя бы даже гетман был уже выбран, толпа все-таки навязывала кошевому и атаманам свою волю, противиться которой было небезопасно. Но как только протрубили «в поход», – все товарищество превращалось в войско, подчиненное военной дисциплине, куренные – в офицеров, а гетман – в вождя-диктатора.

Вот почему, услышав приказ Хмельницкого, атаманы немедленно направились к своим куренным. Совещание было окончено.

Спустя некоторое время выстрелы в воротах, ведущих из предместья Гассан-паши на майдан, потрясли стены радной избы и мрачным эхом отдались по всему Чертомелику, возвещая войну. Ими же начиналась и новая эпоха в истории двух народов, но об этом не знали ни пьяные низовцы, ни сам запорожский гетман.

XII

Хмельницкий со Скшетуским пошли ночевать к кошевому, а с ними и Тугай-бей, которому было слишком поздно возвращаться на Базавлук. Дикий бей обращался с наместником не как с невольником, а как с пленником, за которого мог получить богатый выкуп, и выказывал ему больше почтения, чем казакам, так как в свое время видел его в ханском дворце в качестве княжеского посла. Увидев это, кошевой пригласил Скшетуского в свою избу и тоже переменил с ним обращение. Старый атаман был душой и телом предан Хмельницкому, который завоевал его расположение и всецело овладел им; он заметил, что Хмельницкий во время рады был заинтересован в спасении пленника, но удивился еще больше, когда Хмельницкий, едва успев войти в хату, обратился к Тугай-бею с вопросом:

– Послушай, Тугай-бей, сколько ты думаешь взять выкуп за этого пленника?

Тугай-бей посмотрел на Скшетуского и сказал:

– Ты говорил, что это знатный человек, а я знаю, что это посол страшного князя, а князь любит своих! Бисмиллах! Один заплатит и другой заплатит – всего... – Тугай-бей задумался... – две тысячи талеров.

Хмельницкий ответил:

– Я дам тебе эти две тысячи!

Татарин помолчал несколько минут. Его раскосые глаза, казалось, хотели пронизать Хмельницкого насквозь.

– Ты дашь три! – сказал он.

– Зачем мне давать три, если ты сам требуешь две.

– Если ты хочешь иметь его, значит, он тебе нужен, а если он тебе нужен, то ты дашь три.

– Он спас мне жизнь!

– Алла! Это стоит еще тысячу!

Тут Скшетуский вмешался в торг.

– Тугай-бей! – сказал он с гневом. – Я не могу обещать тебе княжеской казны, но сам дам тебе три тысячи, хотя бы мне пришлось разориться. У меня есть почти столько на сбережении у князя и, кроме того, большая деревня. Этого хватит. А гетману я не хочу быть обязанным жизнью и свободой.

– А откуда ты знаешь, что я хочу с тобой сделать? – спросил Хмельницкий. И, обратившись к Тугай-бею, сказал:

– Начнется война. Ты пошлешь к князю гонца, но прежде чем он вернется, в Днепре утечет много воды, а я завтра сам отвезу тебе деньги в Базавлук.

– Дай четыре, тогда я не буду говорить с ляхом, – нетерпеливо ответил Тугай.

– Дам и четыре, только дай слово!

– Пан гетман, – сказал кошевой, – если хочешь, я сейчас же дам тебе деньги. У меня тут под стеной, может, и больше.

– Завтра отвезешь их в Базавлук, – сказал Хмельницкий.

Тугай-бей потянулся и зевнул.

– Спать хочется, – сказал он. – Завтра на рассвете надо ехать в Базавлук. Где мне лечь?

Кошевой указал ему на кучу овчин у стены.

Татарин бросился на них. Через несколько минут он захрапел, как лошадь.

Хмельницкий прошелся несколько раз по узкой избе и сказал:

– Сон бежит от глаз. Не усну. Дай мне чего-нибудь напиться, пан кошевой.

– Водки или вина?

– Водки. Не усну...

– На небе уж светает, – сказал кошевой.

- Поздно. Иди и ты спать, старый друг. Выпей и иди!
- За славу и счастье!
- За счастье!

Кошевой обтер рукавом губы, потом подал руку Хмельницкому и, отойдя в другой конец избы, весь почти зарылся в овчины, так как от старости мерз. Вскоре его храп заворчал храпу Тугай-бея.

Хмельницкий сидел за столом, погруженный в молчание.

Вдруг он очнулся и, посмотрев на Скшетуского, сказал:

- Ты свободен, пан наместник!
- Благодарю тебя, мосци-гетман запорожский, хотя не скрою, что я предпочел бы кому-нибудь другому быть обязанным свободой.
- Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь – я отплатил тебе тем же! Теперь мы квиты. Но должен тебе сказать, что не отпущу тебя, пока ты не дашь рыцарское слово, что, вернувшись, ничего не скажешь ни о наших приготовлениях, ни о силах, ни о чем, что ты здесь видел в Сечи.
- Вижу, что ты только подразнил меня свободой, – такого слова я тебе не дам, давая его, я поступил бы как изменник.

– Моя жизнь и благополучие всего запорожского войска зависят от того, чтобы великий гетман не двинулся на нас со всем своим войском, что он и не замедлит сделать, узнав о наших силах; а потому не удивляйся, что, если ты не захочешь дать слова, я тебя не отпущу, пока не буду уверен в безопасности. Я знаю, на что иду. Знаю, какая страшная сила против меня: оба гетмана, твой страшный князь, который один стоит целого войска, а Заславские, а Конечпольские, а все эти королевичи, которые душат казаков! Немало мне пришлось потрудиться, немало писем написать, чтобы усыпить их чуткость, и я не могу теперь допустить, чтобы ты пробудил ее. Когда чернь, и городские казаки, и вообще все притесняемые в свободе и вере будут на моей стороне, как запорожское войско и милостивый хан крымский, то я надеюсь справиться с неприятелем, ибо силы мои будут значительнее. Но больше всего я надеюсь на Бога, который видел обиды и невинность мою.

Хмельницкий выпил стакан водки и беспокойно заходил вокруг стола; пан Скшетуский смерил его взглядом и сказал с силой:

– Не кощунствуй, надеясь на Бога, гетман запорожский, и не призывай его покровительства, ибо этим ты навлечешь только гнев его на себя и кару. Тебе ли призывать на помощь Всевышнего, когда ты поднимаешь такую страшную бурю из-за собственных ссор и обид? Ты зажигаешь пламя междоусобной войны и призываешь неверных в помощь против христиан. Что же будет? Победишь ли ты или будешь побежден, ты прольешь море крови и слез, хуже саранчи опустошишь край, отдашь в ясырь басурманам своих же братьев, потрясешь Речь Посполитую, поднимешь руку на короля и осквернишь алтари, а все потому, что Чаплинский отнял у тебя хутор и под пьяную руку грозил тебе. На что же только ты не отважишься, чем только не пожертвуешь ради частного дела? И ты взываешь к Богу? Ну вот, хотя и в твоей власти, хотя ты и можешь лишить меня и свободы, и жизни, я все же скажу тебе: Сатану, а не Бога призывай на помощь, ибо только ад может помочь тебе!

Хмельницкий побагровел, схватился за рукоятку сабли и посмотрел на наместника, как лев, готовый зареветь и броситься на свою жертву, но сдержался. К счастью, он не был еще пьян. Быть может, его охватило какое-то беспокойство, а в душе заговорил голос: «Вернись назад», потому что он вдруг стал оправдываться перед самим собой или убеждать себя:

– Я не стерпел бы от другого таких речей, но смотри и ты, как бы смелость твоя не истощила моего терпения. Ты пугаешь меня адом, упрекаешь меня в личной мести и измене... А почему ты знаешь, что я иду мстить только из-за личной обиды? Где ж бы я нашел помощников, эти тысячи людей, которые уже пошли за мной, если б я мстил только за себя? Взгляни, что делается на Украине! Страна богата и плодородна, а кто в ней уверен в завтрашнем дне? Кто в

ней счастлив? Кто не лишен веры и свободы? Кто в ней не плачет и не вздыхает? Только одни Вишневецкие, Потоцкие, Заславские, Калиновские да горсть шляхты! Для них и должности, и почести, и люди, и земля, для них счастье и золотая свобода, а остальной народ простирает руки к небу в слезах, ожидая милосердия Божия, ибо и король не поможет. А сколько шляхтичей бежит от их гнета к нам в Сечь, как убежал и я! Я не хочу войны ни с королем, ни с Речью Посполитой! Она – наша мать, он – отец! Король – милостивый пан, но королевичи!! С ними нам не жить! Их грабежи, их аренды, их налоги, и тиранство, и притеснения при помощи жидов вопиют к небу о мести! Какую же благодарность познало войско запорожское за великие услуги, оказанные им в многочисленных войнах? Где казацкие привилегии? Король их дал, королевичи отняли. Наливайко четвертован! Павлюк зажарен в медном баке! Кровь не высохла еще на наших ранах, которые нанесли нам сабли Жолкевского и Конецпольского! Не высохли еще слезы по убитым, зарезанным и посаженным на кол! А теперь смотри: что светит на небе? – Хмельницкий указал в окно на сиявшую комету. – Гнев Божий! Бич Божий! И если мне суждено быть им, то да будет воля Божия! Я возьму на себя этот крест!..

С этими словами он поднял руки кверху и, казалось, весь горел, как великий факел мести, и, задрожав, упал на скамью, точно под тяжестью своего предназначения.

Наступило молчание, прерываемое только храпом Тугай-бея и кошевого – лишь где-то в углу жалобно трещал сверчок.

Наместник сидел, опустив голову. Он точно искал ответа на слова Хмельницкого, тяжелые, как камни; наконец проговорил тихим и печальным голосом:

– Ах, если бы даже это была и правда, то кто же ты, гетман, чтобы быть палачом и судьей?... Какое безумие, какая гордыня увлекают тебя? Отчего ты не оставишь Богу кару и суд? Я не защищаю зла, не хвалю обиды, притеснений не называю правом, но взгляни и ты на себя, гетман. Ты упрекаешь королевичей за притеснения, говоришь, что они не хотят слушать ни короля, ни закона, упрекаешь их в гордости, а разве ты сам безгрешен? Разве ты сам не поднимаешь руку на Речь Посполитую, на право и величие короля? Ты видишь тиранию панов и шляхты, но не видишь того, что если бы не их груди, не их панцири, не их мощь, не их замки и пушки, то земля эта, текущая млеком и медом, стонала бы под худшим еще – татарским – игом. Кто защищал ее? Чьим покровительством и могуществом дети ваши избавлены от службы в янычарах, а женщины – от скверны гаремов? Кто заселяет пустыни, строит деревни, города и храмы Божьи?

Голос Скушетуского становился все более сильным, а Хмельницкий, мрачно уставив глаза в стакан с водкой и положив стиснутые руки на стол, молчал, точно борясь с самим собой.

– И кто же они? – продолжал Скушетуский. – Разве они пришли из неметчины или из туретчины? Не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли эта шляхта, не ваши ли князья? Если это так, то горе тебе, гетман, ибо ты вооружаешь младших братьев против старших и делаешь их отцеубийцами. Но боже! Если бы даже они и были злы, если бы все они, чего нет на самом деле, попирали права и нарушали привилегии, пусть их Бог судит на небе и сеймы на земле, но не ты, гетман! Можешь ли ты сказать, что между вами только праведники? Разве вы безгрешны, что бросаете камнем в других? Ты спросил меня, где казацкие привилегии? Я отвечу тебе: не королевичи их уничтожили, а запорожцы: Лобода, Сасико, Наливайко и Павлюк, о котором ты выдумал, будто его зажарили в медном быке, хоть хорошо знаешь, что этого не было. Уничтожили их ваши бунты, и мятежи, и наезды вроде татарских! Кто пускал татар в пределы Речи Посполитой, кто нападал на них, когда они возвращались с добычей? Вы! Кто – бог мой! – отдавал в неволю своих же христиан? Кто больше всех бунтовал? От кого не был в безопасности ни шляхтич, ни купец, ни горожанин? От вас! Кто начинал междоусобные войны, кто поджигал украинские деревни и города, грабил святыни Божьи, насиловал женщин? Вы и вы!! Чего ты хочешь? Чтобы вам дали привилегию на междоусобную войну, разбой и грабеж? Воистину больше прощено вам, чем отнято у вас! Зараженное тело хотели лечить, а не

резать, и я не знаю, есть ли еще такое государство, кроме Речи Посполитой, которое терпело бы такой нарыв на собственном теле, было бы так терпеливо и снисходительно. И какая благодарность за это? Вот тут спит твой союзник, заклятый враг Речи Посполитой, твой друг, но не друг креста и христианства; это не украинский князь, а татарский мурза, с ним ты идешь разорять собственное гнездо и будешь судить своих братьев. Но отныне он будет повелителем, а ты будешь подавать ему стремя!

Хмельницкий выпил еще стакан водки.

– Было время, когда мы с Барабашем были у короля, – мрачно сказал он, – и начали жаловаться на несправедливости и притеснения, он спросил нас: «Разве у вас нет самопалов и сабель?»

– Но если бы ты стоял перед Царем Царствующих, то он бы спросил тебя: «Простил ли ты врагам своим, как я простил своим?»

– Я не хочу войны с Речью Посполитой!

– И прикладываешь ей меч к горлу?

– Я хочу освободить казаков из ваших рук!

– Чтобы опутать их татарскими сетями?

– Я хочу защитить веру!

– В союзе с басурманом?

– Прочь! Ты не голос моей совести! Прочь, говорю тебе!

– Пролитая кровь и человеческие слезы падут на тебя! Смерть тебя ждет и суд!!

– Ворон!! – вскричал Хмельницкий с бешенством и, сверкнув ножом, замахнулся на наместника.

– Убей! – проговорил пан Скшетуский.

И снова настала минута молчания; снова слышалось только храпение спящих да жалобное трещание сверчка. Хмельницкий не отнимал ножа от груди поручика; наконец он опомнился, опустил нож и, схватив кувшин с водкой, начал пить. Выпил его до дна и тяжело опустился на скамью.

– Не могу пырнуть его! – бормотал он. – Не могу! Поздно уже! Светает! И возвращаться назад уже поздно... Что ты мне говоришь о суде и крови?..

Он и раньше выпил уже много, и теперь водка ударила ему в голову; он постепенно все больше терял сознание.

– Какой там суд? Что? Хан обещал мне помощь, Тугай-бей здесь спит! Завтра молодцы двинутся. С нами святой Михаил-победитель! А если бы... Если бы... то... я выкупил тебя у Тугай-бея, помни это и скажи... Ой, что-то болит, болит... Сворачивать с дороги... Поздно... Суд... Наливайко... Павлюк... Вдруг он выпрямился, вытаращил в ужасе глаза и закричал:

– Кто здесь?

– Кто здесь? – повторил полусонный кошевой.

Но Хмельницкий опустил голову на грудь, покачнулся раз, другой и, пробормотав: «Какой суд...», заснул.

Скшетуский побледнел и ослабел от полученных недавно ран и от волнения, которое испытывал во время этого разговора. Думая, что это пришла смерть, он начал громко молиться.

XIII

На следующий день утром пешее и конное казацкое войско двинулось из Сечи. Хотя степи не обагрились еще кровью, но война уже началась. Полки шли за полками; казалось, будто саранча, пригретая весенним солнцем, летит роями из тростников Чертомелика на украинские нивы. В лесу, за Базавлуком, ожидали, готовые в поход, ордынцы. Шесть тысяч отборных воинов, вооруженных несравненно лучше обыкновенных ордынцев – разбойников, составляли помощь, которую хан послал запорожцам и Хмельницкому. Казаки при виде их стали бросать вверх шапки. Загремели самопалы. Крики казаков, смешавшись с криками «Алла!», грянули в небо. Хмельницкий и Тугай-бей, оба под бунчуками, подъехали друг к другу на конях и торжественно поздоровались.

Войска выстроились в боевой порядок с обычной у казаков и татар быстротой, потом двинулись в путь. Ордынцы заняли оба крыла. Хмельницкий с конницей в середине, за ними страшная запорожская пехота³⁵, далее – пушкари со своими пушками, затем обоз, повозки и вozy с прислугой и припасами и, наконец, чабаны со стадами запасного скота.

Миновав базавлукский лес, полки хлынули в степь. День был погожий, небесный свод не омрачался ни одной тучей. Легкий ветер дул с севера к морю, солнце играло на копьях казаков и на степных цветах. Перед войском раскинулись Дикие Поля, точно безбрежное море; при виде их радость охватила казацкие сердца. Большая малиновая хоругвь с изображением архангела склонилась несколько раз, приветствуя родимую степь, а по ее примеру склонились все бунчуки и полковые знамена. Из груди всех вырвался один общий крик.

Полки свободно развернулись. Довбыши и торбанисты выехали вперед. Загремели котлы, зазвенели литавры, и тысячи голосов запели в гулком степном воздухе:

Гей вы, степи, вы родня,
Красным цвितом писанья,
Як море широкия...

Торбанисты, опустив поводья и откинувшись назад на седлах, подняв к небу глаза, били по струнам торбанов; литавристы, вытянув над головою руки, били в свои медные крути, довыбыши гремели в котлы, – и все эти звуки вместе с монотонными словами песни и с пронзительным, беспорядочным свистом татарских дудок слились в одну унылую ноту, дикую, как сама пустыня. Все полки упивались этими звуками, головы мерно покачивались в такт песни; казалось, будто вся степь поет и колыхается с людьми, лошадьми и хоругвями.

Испуганные стаи птиц срывались с земли и летели перед войском, словно второе, воздушное войско.

Временами песня и музыка молкли, и тогда слышался только шелест хоругвей, топот и фыркание лошадей, скрип обозных возов, похожий на крик лебедей или журавлей.

Впереди, под большой малиновой хоругвью и под бунчуком, ехал Хмельницкий на белом коне, с золоченой булавой в руках, одетый в красное. Весь табор двигался медленно на север, точно грозная волна, покрывая собой реки, дубравы и курганы и наполняя шумом и криками степную пустыню.

А из Чигирина, с северной стороны пустыни, навстречу этой волне плыла другая – коронные войска под предводительством молодого Потоцкого.

³⁵ Вопреки установившемуся мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота была значительно выше конницы. По его словам, 200 поляков могли легко разбить 2000 казацкой конницы, но зато 100 пеших казаков могли долго защищаться, заняв оборону, против 1000 поляков.

Здесь запорожцы и татары шли точно на вольный пир, с веселой песнью; там – суровые гусары двигались в мрачном молчании, неохотно идя на эту бесславную борьбу.

Здесь, под малиновой хоругвью, старый, опытный воин грозно потрясал булавою, точно уверенный в победе и мести; там – во главе войска ехал юноша с задумчивым лицом, как бы предугадывая свою близкую и печальную судьбу.

Их разделяло еще большое пространство степи.

Хмельницкий не спешил. Он рассчитывал, что чем больше углубится в пустыню молодой Потоцкий, чем дальше отойдет от обоих гетманов, тем легче будет его победить. А тем временем новые беглецы из Чигирина, Поволочи и других береговых украинских городов ежедневно увеличивали силы запорожцев, принося заодно вести из неприятельского лагеря. Хмельницкий узнал от них, что старый гетман выслал сына сухим путем только с двумя тысячами конницы, а шесть тысяч казаков и одну тысячу немецкой пехоты отправил Днепром на байдаках. Оба отряда получили приказ не удаляться друг от друга, но его пришлось нарушить в первый же день, так как байдаки, унесенные быстрым течением Днепра, значительно опередили идущих берегом гусар, движение которых непомерно замедлялось переправами через все реки, впадающие в Днепр.

Поэтому Хмельницкий, желая, чтобы расстояние это увеличилось еще больше, не спешил. На третий день похода он расположился лагерем у Камышовой Воды и стал отдыхать.

Разведчики Тугай-бея поймали «языка». Это были два драгуна из отряда Потоцкого. Скача день и ночь, они значительно опередили свой отряд. Их сейчас же привели к Хмельницкому.

Их рассказы подтвердили то, что было уже известно Хмельницкому о силах молодого Стефана Потоцкого; кроме того, он узнал, что предводителями казаков, плывших вместе с немецкой пехотой на байдаках, были старый Барабаш и Кшечовский.

Услышав последнюю фамилию, Хмельницкий вскочил с места.

– Кшечовский? Полковник реестровых переяславских казаков?!

– Он самый, ясновельможный гетман! – отвечали драгуны.

Хмельницкий обратился к окружающим его полковникам.

– Вперед! – скомандовал он громовым голосом.

Не прошло и часа, как войско двинулось в путь, хотя солнце уже заходило и ночь не обещала быть погожей. С запада шли какие-то страшные рыжие тучи, похожие на драконов, левиафанов, что надвигались друг на друга, словно готовясь вступить в борьбу.

Отряд направлялся в левую сторону, к берегу Днепра. Теперь он уже шел молча, без песен и звона литавр, и настолько быстро, насколько позволяла трава, которая была местами так высока, что в ней тонули целые полки, а разноцветные хоругви, казалось, сами плыли по степи. Огромная красная луна медленно выплыла на небо, но ее заслоняли каждую минуту тучи, и она гасла, как лампа, задуваемая ветром.

Было уже далеко за полночь, когда глазам казаков и татар предстала огромная черная масса, отчетливо вырисовывавшаяся на темном фоне неба.

Это были стены Кудака.

Разведчики, скрытые темнотой ночи, приближались к замку осторожно и тихо, точно волки или ночные птицы. А что, если можно будет неожиданно завладеть сонной крепостью?

Но вдруг на крепостном валу молния взрезала воздух и рассеяла темноту; страшный гул потряс днепровские скалы, и огромный шар, описав на небе яркую дугу, упал на степную траву.

Мрачный циклоп Гродзицкий дал знать, что он не спит.

– Пес одноглазый, – шепнул Хмельницкий Тугай-бею, – видит и ночью.

Казаки миновали замок, о взятии которого они не могли и думать в минуту, когда им навстречу шли коронные войска, и двинулись далее. Но пан Гродзицкий продолжал палить им вслед так, что крепостные стены тряслись; он не столько хотел причинить им вред (они шли на

довольно значительном расстоянии), сколько предупредить войска, которые плыли Днестром и могли находиться уже недалеко.

Но прежде всего звук кудакских пушек отдался в сердце и ушах пана Скшетуского. Молодой рыцарь, которого, по приказанию Хмеля, везли при казацком отряде, на другой же день тяжело заболел. В битве под Хортицей он, правда, не получил ни одной смертельной раны, но зато потерял столько крови, что в нем еле теплилась жизнь. Раны его, перевязанные по-казацки старым старшиной, открылись вновь, у него началась лихорадка, и он в ту ночь лежал в полузабытии в казацкой телеге, ничего не сознавая. Очнулся он только от грохота кудакских пушек. Открыл глаза, приподнялся на возу и стал озираться по сторонам. Казацкий табор крался в темноте, как хоровод теней, а замок гремел и озарялся розоватым дымом; огненные ядра скакали по степи, хрипя и ворча, как разъяренные псы; Скшетуским, при виде этого, овладело такое отчаяние, такая тоска, что он готов был умереть хоть сейчас, только бы душой быть со своими. Война, война! А он в отряде врагов, безоружный, больной, не может и подняться с телеги. Речь Посполитая в опасности, а он не летит спасать ее. А там, в Лубнах, войска, верно, уже выступают! Князь, сверкая глазами, носится перед рядами и, куда ни укажет булавою, туда сейчас же ударит триста копий, как триста громов. Перед глазами наместника стали вставать все знакомые лица: маленький Володыевский несется во главе драгун со своей тоненькой саблей в руках, но ведь он боец из бойцов, с кем он скрестит свою саблю, тот уж погиб наверняка; а там пан Подбиента поднимает свой чудовищный меч! Срубят ли он три головы или нет? Ксендз Яскульский крестит хоругви и молится, подняв руки к небу, – это бывший солдат, порой он не выдержит и крикнет: «Бей!» А вот панцирные несутся вперед, полки наезжают, гонят врагов; битва, смятение!

Вдруг видение меняется. Перед наместником стоит Елена, бледная, с распущенными волосами, и кричит: «Спасай меня, за мной гонится Богун!» Пан Скшетуский срывается с телеги, но вдруг чей-то голос, теперь уже наяву, говорит ему:

– Лежи смирно, детыня, не то свяжу!

Это есаул Захар, которому Хмельницкий приказал беречь наместника как зеницу ока; он укладывает его опять в телегу, закрывает лошадиной шкурой и спрашивает:

– Що с тобой?

Скшетуский окончательно приходит в себя. Видения исчезают. Возы идут по самому берегу Днестра. С реки долетает холодный ветер, ночь бледнеет. Речные птицы поднимают свой утренний крик.

– Слушай, Захар! Мы уже миновали Кудак? – спрашивает Скшетуский.

– Миновали! – отвечает запорожец.

– А куда мы едем?

– Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю...

При этих словах радостно забилося сердце пана Скшетуского. Он думал, что Хмельницкий будет осаждать Кудак и с этого начнется война. Но поспешность, с какой казаки двигались вперед, давала возможность предполагать, что коронные войска уже близко и что Хмельницкий миновал крепость, чтобы избежать сражения под обстрелом ее пушек. «Может быть, еще сегодня я буду свободен», – подумал наместник, с благодарностью поднимая к небу глаза.

XIV

Грохот кудакских пушек слышали также и войска, плывшие на байдаках по воде, под предводительством старого Барабаша и Кшечовского.

Они состояли из шести тысяч реестровых казаков и одного полка отборной немецкой пехоты под начальством полковника Ганса Флика.

Пан Николай Потоцкий долго колебался, прежде чем отправить казаков против Хмельницкого, но так как Кшечовский имел на них огромное влияние, а Кшечовскому гетман безгранично доверял, то он велел казакам принести присягу и отправил их с Богом.

Кшечовский, опытный воин, прославившийся в прежних войнах, был обязан Потоцким и чином полковника, и шляхетством, которое они выхлопотали ему на сейме и, наконец, обширными имениями, лежавшими при слиянии Днестра и Лядавы, которые были в пожизненном его владении.

Его соединяли с Речью Посполитой и Потоцкими такие тесные узы, что даже тень подозрения не могла зародиться в душе гетмана. Притом это был человек в цвете лет (ему не было еще пятидесяти), а услуги, оказанные им стране, открывали перед ним блестящую будущность. Многие видели в нем преемника Стефана Хмельницкого, который начал свою службу простым степным казаком, а закончил ее воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. От Кшечовского зависело пойти этой дорогой, на которую его толкали и мужество, и дикая энергия, и необузданное честолюбие, одинаково жадное и к богатству, к почестям. Из-за этого честолюбия он всячески добивался литинского староства; а когда наконец староство получил вместо него Корибут, он глубоко затаил в сердце обиду и почти заболел от досады и зависти. Теперь судьба, казалось, снова улыбнулась ему; получив от великого гетмана такое важное назначение, он смело мог рассчитывать, что имя его будет известно королю. А это было очень важно, так как тогда ему стоило только поклониться королю, чтобы получить грамоту с дорогими шляхетскому сердцу словами: «Бил нам челом и просил... «щоб его подарыты», «а мы, памятуя его заслуги, даем ему», и т. д. Этим путем добивались на Руси богатства и почестей; этим же путем переходили в частные руки огромные пространства степи, принадлежавшей раньше Богу да Речи Посполитой; этим же путем простой холоп превращался в пана и льстил себя надеждой, что его потомки будут заседать в сенате.

Кшечовского грызло только то, что, исполняя волю Потоцкого, он должен был делить власть с Барабашем, хотя это разделение власти было фиктивным. В действительности старый черкасский полковник особенно за последнее время так постарел и осунулся, что жил на земле одним только телом, душа же и разум находились в состоянии постоянного оцепенения и угасания, которые обыкновенно предшествуют полной смерти. В начале похода он как бы очнулся и начал энергично распоряжаться, казалось, будто при звуках военных труб быстрее текла старая солдатская кровь – в свое время это был славный рыцарь и степной вождь, – но, как только они двинулись, его усыпили песни казаков и мягкое движение байдаков и он забыл обо всем на свете. Кшечовский всем распоряжался и заведовал сам; Барабаш просыпался только для еды; наевшись, он по привычке спрашивал о том о сем и, получив кое-какой ответ, вздыхал и говорил: «Ох, рад бы я лечь в могилу на другой войне, да уж, видно, воля Божья».

Между тем связь с коронным войском, шедшим под предводительством Стефана Потоцкого, была сразу порвана. Кшечовский ворчал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, что у молодого гетманского сына нет военной опытности, но, несмотря на это, велел всем своим людям грести и подвигаться вперед.

Байдаки плыли вдоль берега Днепра к Кудаку, все больше удаляясь от коронных войск. Наконец как-то ночью послышался грохот пушек.

Барабаш спал и не проснулся, зато Флик, который ехал впереди, пересел в челн и подгреб к Кшечовскому.

- Мосци-полковник, – сказал он, – это кудакие пушки! Что нам делать?
- Остановите байдаки... Проведем ночь в тростниках!
- Хмельницкий, видно, осаждает крепость. По моему мнению, надо бы отрезать его!
- Я не спрашиваю вашего мнения, а только приказываю. Командую я!
- Мосци-полковник!
- Стоять и ждать! – сказал Кшечовский.

Но, видя, что энергичный немец щиплет свою рыжую бороду и уступать без резона не думает, прибавил мягче:

- Может быть, завтра к утру подоспеет каштелян со своей конницей, а крепость за одну ночь не возьмут.
- А если не подойдет?
- Будем ждать хоть два дня. Вы не знаете Кудака: они поломают себе зубы о него, а без каштеляна я не пойду, да и права не имею. Это его дело.

Кшечовский был, по-видимому, прав, и Флик, не настаивая больше, вернулся к своим немцам.

Байдаки вскоре подошли к правому берегу и стали прятаться в тростник, на целые версты покрывавший широко разливавшуюся в этом месте реку. Наконец плеск весел утих, лодки совсем скрылись, и река, казалось, была совсем пуста. Кшечовский запретил разводиться огонь, петь песни и разговаривать; кругом залегла глубокая тишина, прерываемая только далеким отголоском кудаких пушек.

Но на лодках никто, кроме Барабаша, не сомкнул глаз. Флик, как рыцарь, жаждущий битвы, птицей полетел бы под Кудак. Казаки тихо спрашивали друг у друга, что может случиться с крепостью? Выдержит она или нет? А между тем гул орудий все усиливался. Все были уверены, что замок отражает горячий штурм.

- Хмель не шутит, но и Гродзицкий не шутит! – шептали казаки. – Что-то будет завтра?

Тот же вопрос задавал себе, вероятно, и Кшечовский, который, сидя на корме своего байдака, глубоко задумался. Он хорошо и давно знал Хмельницкого и считал его всегда необыкновенно даровитым человеком, которому только негде было развернуться, чтобы взлететь орлом ввысь, но теперь он усомнился в этом. Пушки все гремели. «Неужели Хмельницкий в самом деле осаждает Кудак? Если так, – думал Кшечовский, – то он погиб».

Как? Подняв все Запорожье, заручившись помощью хана и собрав силу, какой до сих пор не располагал ни один атаман, он, вместо того чтобы спешить на Украину, поднять там чернь, переманить городских казаков, смять как можно скорее гетманов и овладеть страной, прежде чем успеют подойти на ее защиту войска, – он, Хмельницкий, этот старый воин, штурмует неприступную крепость, которая может задержать его на целый год. И допустит, чтобы лучшие силы его разбились о стены Кудака, как днепровские волны разбиваются о скалы порогов? И будет ждать, пока гетманы соединятся и окружают его, как Наливайко под Солоницей?

– Он погиб! – еще раз повторил Кшечовский. – Свои же казаки выдадут его. Неудачный штурм вызовет недовольство и замешательство; искра бунта погаснет в самом зародыше, и тогда Хмельницкий будет не страшнее меча, который сломался у рукоятки.

«Глупец! Ergo?»³⁶ – подумал затем Кшечовский. – Ergo, завтра утром я высажу своих казаков и немцев на берег, а следующей ночью я ударю на ослабленного штурмом неприятеля, вырежу запорожцев, а Хмельницкого, связанного, брошу к гетманским ногам. Это его собственная вина – могло бы быть иначе!»

³⁶ Итак (лат).

И необузданное честолюбие пана Кшечовского взвилось вверх, точно на соколиных крыльях. Он прекрасно знал, что молодой Потоцкий никоим образом не может подойти к завтрашней ночи, следовательно, кто снесет голову гидре? Кшечовский! Кто подавит бунт, который может страшным пожаром охватить всю Украину? Кшечовский! Может быть, старый гетман позлится немного, что все это случится без участия его сына, но скоро поправится, а между тем все лучи славы и королевская милость озарят чело победителя.

Нет, надо будет поделиться славой со старым Барабашем и Гродзицким. Пан Кшечовский нахмурился, но сейчас же повеселел. Ведь эту старую колоду, Барабаша, не сегодня завтра заруют в могилу, а Гродзицкий – лишь бы ему сидеть в Кудаке и время от времени пугать из пушек татар, и ничего большего он не желает; остается, значит, один Кшечовский.

Ах, если бы он мог получить украинское гетманство!

Звезды мерцали на небе, а полковнику казалось, что это сверкают драгоценные камни в булавке; ветер шумел в тростниках, а ему казалось, что это шумит гетманский бунчук.

Пушки Кудака все гремели.

«Хмельницкий подставит свою голову под меч, – думал полковник, – но это его вина! Могло бы быть иначе. Если бы он сразу пошел на Украину! Там уже все кипит, все готово, точно порох, что ждет только искры. Речь Посполитая сильна, но на Украине сил нет, а король уже немолод и болен. Одно выигранное запорожцами сражение имело бы такие последствия, каких и учесть нельзя».

Кшечовский закрыл лицо руками и сидел неподвижно; звезды между тем опускались все ниже и ниже и медленно заходили за степь. Перепела, спрятавшиеся в траве, начали перекликаться. Скоро должно рассветать.

Размышления полковника перешли наконец в твердое намерение. Завтра же он ударит на Хмельницкого и сотрет его в порошок. Через его труп он придет к богатству и почестям, станет орудием кары в руках Речи Посполитой и ее защитником, а в будущем – сенатором и вельможей. После побед над запорожцами и татарами ему не откажут ни в чем.

А все же ему не дали латинского староства!

При этом воспоминании Кшечовский сжал кулаки. Ему не дали староства, несмотря на огромное влияние Потоцких, несмотря на его военные заслуги, только потому, что он был *homo novus*³⁷, а его соперник вел свой род от князей. В этой Речи Посполитой мало быть шляхтичем, надо еще ждать, пока это шляхетство не покроется плесенью, как вино, или не заржавеет, как железо.

Один Хмельницкий мог бы ввести новый порядок вещей, к которому примкнул бы, пожалуй, и сам король, но несчастный захотел вместо этого разбить свою голову о стены Кудака.

Полковник понемногу успокаивался. Ему не дали староства – что из того? Тем более будут стараться вознаградить его, в особенности после победы, после усмирения бунта, после прекращения междоусобной войны и спасения Украины, даже всей Речи Посполитой! Тогда ему ни в чем не откажут, тогда ему не нужны будут даже Потоцкие.

Сонная голова его склонилась на грудь, и он заснул, мечтая о староствах, о каштелянствах и о королевских и сеймовых грамотах.

А когда проснулся, было уже светло. На байдаках все еще спали. При бледном неверном свете сверкали воды Днепра; вокруг царила полнейшая тишина. Эта тишина и разбудила его.

Кудакские пушки перестали греметь.

«Что это? – подумал Кшечовский. – Первый штурм отбит или, быть может, Кудак взят?»

Но это невероятно!

Нет! Просто разбитые казаки лежат где-нибудь вдали от замка и зализывают раны, а одноглазый Гродзицкий смотрит на них в бойницы и снова наводит пушки.

³⁷ Выскочка (лат.).

Завтра штурм повторяют и снова поломают зубы.

Наконец совсем рассвело. Кшечовский разбудил людей на своем байдаке и послал челн за Фликом. Флик немедленно явился.

– Мосци-полковник! – сказал Кшечовский. – Если до вечера каштелян не подойдет, а ночью повторится штурм, то мы пойдем на помощь крепости.

– Мои люди готовы, – ответил Флик.

– Раздать им порох и пули.

– Розданы.

– Мы высадимся на берег ночью и как можно тише пойдем степью, застанем их врасплох.

– Gut! Sehr gut!³⁸ А не проехать ли нам немного в байдаках? До крепости мили четыре. Для пехоты слишком далеко.

– Пехота сядет на казацких лошадей.

– Sehr gut!

– Пусть люди тихо лежат в тростнике, не выходят на берег и не шумят. Огней не зажигать, дым нас выдаст.

– Такой туман, что и дыму не увидят.

Действительно, река, заросшая тростником, где стояли байдаки, и вся степь были окутаны белым, непроницаемым туманом. Но это был только рассвет, и туман мог рассеяться и открыть степные пространства.

Флик отъехал. Люди на байдаках понемногу просыпались, им сейчас же передали приказ Кшечовского не шуметь, и они принялись за завтрак без обычного солдатского говора. Если бы кто-нибудь проходил по берегу или проезжал серединой реки, он и не догадался бы, что в тростниках скрывается несколько тысяч людей.

Байдаки, скрытые во мгле, стояли, притаившись, в море тростника. Кое-где лишь мелькала порой маленькая «подъездка» с двумя веслами, развозившая сухари и приказания, кругом же царила могильная тишина.

Но вдруг в прибрежных камышах и зарослях раздались странные многочисленные крики:

– Пугу! Пугу!

Тишина...

– Пугу! Пугу!

И опять наступало молчание, точно голоса эти с берега ждали ответа. Но ответа не было. Крики раздались в третий раз, но громче и нетерпеливее!

– Пугу! Пугу!

Тогда из темноты раздался с лодки голос Кшечовского:

– А кто такой?

– Казак с лугу.

У казаков, скрытых в байдаках, тревожно забились сердца. Этот таинственный зов был им хорошо знаком. Так переговаривались между собой запорожцы на зимовниках. Так в военное время приглашали они на разговор своих братьев – реестровых и городских казаков, между которыми многие тайно принадлежали к запорожскому братству.

Снова раздался голос Кшечовского:

– Что вам надо?

– Запорожский гетман, Богдан Хмельницкий, дает вам знать, что его пушки обращены в вашу сторону.

– Скажите пану запорожскому гетману, что наши обращены к берегу...

– Пугу! Пугу!

– Чего еще хотите?

³⁸ Хорошо! Очень хорошо! (нем.)

– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, приглашает на беседу приятеля своего, полковника пана Кшечовского!

– Пусть даст заложников!

– Десять куренных?

– Ладно!

В ту же минуту берега зацвели, как цветами, запорожцами, которые до этого скрывались, лежа в траве. В глубине степи показалась приближающаяся конница, пушки, сотни хоругвей, знамен и бунчуков. Они шли с пением и гулом литавр. Все это было похоже скорее на радостную встречу, чем столкновение неприятельских сил.

Казаки с байдаков отвечали криками. Между тем подъехали лодки с куренными атаманами. Кшечовский сел в одну из них и отъехал к берегу. Там ему подали коня и проводили к Хмельницкому.

Увидав его, Хмельницкий снял шапку и радостно приветствовал его.

– Пане полковник! – сказал он. – Старый друг мой и кум! Когда коронный гетман приказал тебе поймать меня и отправить в отряд, ты этого не сделал, а предупредил меня, чтобы я спасался бегством. Я обязан тебе за это благодарностью и братской любовью!

И, говоря это, он приветливо протянул руку, но смуглое лицо Кшечовского оставалось холодно как лед.

– А теперь, когда ты спасся, пан гетман, ты заводишь междоусобную войну? – сказал он.

– Я иду напомнить о правах и своих, и твоих, и всей Украины. У меня королевские грамоты в руках, и я надеюсь, что наш милостивый король не сочтет это за зло.

Кшечовский пристально взглянул в глаза Хмельницкому и спросил с ударением:

– Ты осаждал Кудак?

– Я? Разве я сошел с ума? Кудак я миновал без единого выстрела, хотя старый слепец и встретил меня пушками! Мне было не до Кудака, я на Украину торопился и к тебе, моему старому другу и благодетелю.

– Что же ты от меня хочешь?

– Отъедем в степь и поговорим.

Они отъехали. Говорили с час. Когда вернулись, лицо Кшечовского было бледно и страшно. Он тотчас стал прощаться с Хмельницким, который сказал ему на прощанье:

– Нас будет только двое на Украине, а над нами король, и никого больше. Кшечовский вернулся к байдакам. Старый Барабаш, Флик и старшины с нетерпением ждали его.

– Что там? Что там? – спрашивали со всех сторон.

– Высаживаться на берег! – ответил повелительным голосом Кшечовский.

Барабаш поднял сонные веки, в его глазах мелькнул какой-то странный огонек.

– Как так? – спросил он.

– Высаживаться на берег, сдаемся!

Кровь прилила к бледному и пожелтевшему лицу Барабаша. Он вскочил с котла, на котором сидел, и выпрямился; дряхлый сторбленный старик превратился в великана, полного жизни и силы.

– Измена! – закричал он.

– Измена! – повторил Флик, хватаясь за рукоятку сабли.

Но не успел он обнажить ее, как Кшечовский взмахнул саблей и одним ударом уложил Флика на месте.

Затем, перескочив из байдака в «подъездку», в которой сидело четыре запорожца с веслами в руках, он крикнул:

– К лодкам!

Челнок помчался как стрела. Пан Кшечовский, стоя в лодке, с шапкой, надетой на окровавленную саблю, и с горящими глазами кричал мощным голосом:

– Дети! Не будем убивать своих! Да здравствует Богдан Хмельницкий, гетман запорожский.

– Да здравствует! – повторяли сотни и тысячи голосов.

– Погибель ляхам!

– Погибель!

Крикам в байдаках ответили крики запорожцев, находящихся на берегу. Но многие в дальних лодках не знали еще, в чем дело, и лишь когда повсюду разнеслась весть, что пан Кшечовский переходит к запорожцам, казаками овладел безумный восторг. Шесть тысяч шапок взлетело на воздух, из шести тысяч ружей грянули выстрелы. Байдаки тряслись от топота казаков. Начался страшный шум и суматоха. Но радости этой суждено было обагриться кровью, ибо старый Барабаш предпочитал погибнуть, чем изменить знамени, под которым он прослужил всю жизнь.

К нему примкнуло еще несколько десятков черкасских казаков, и началась битва – короткая и страшная, как вообще все битвы, где горсть людей, ищущих не пощады, а смерти, защищается против целой толпы. Ни Кшечовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На предложение сложить оружие он отвечал выстрелами, и люди видели, как он с булавою в руках, с развевающимися седыми волосами, громовым голосом отдавал приказания с энергией молодого человека.

Лодку его окружили со всех сторон. Казаки, которые не могли пробиться к нему на байдаках, пускались вплавь или вброд между тростниками, хватаясь за края лодки, и с яростью лезли в нее. Сопротивление продолжалось недолго. Верные Барабашу казаки, исколотые, изрубленные или просто разорванные руками, покрыли трупам лодку – один только старик с саблей в руках еще сопротивлялся.

Кшечовский пробился к нему и крикнул:

– Сдайся!

– Изменник! Погибель тебе! – ответил Барабаш и взмахнул саблей для удара.

Кшечовский быстро спрятался в толпе.

– Бей! – крикнул он казакам.

Но, казалось, никто не хотел первым поднять руку на старика; к несчастью, полковник поскользнулся в крови и упал. Лежа, он уже не возбуждал такого уважения или страха, и несколько десятков копий тотчас вонзились в его тело. Старик успел только крикнуть: «Иисус, Мария...»

Старика начали рубить на куски лежачего. Отрубленную голову перебрасывали с байдака в байдак, играя ею, как мячом, до тех пор, пока от чьего-то неловкого движения она не упала в воду.

Оставались еще немцы, с которыми справиться было труднее, так как отряд состоял из тысячи закаленных в войнах солдат. Флик, правда, уже пал от руки Кшечовского, но во главе отряда остался подполковник Иоганн Вернер, ветеран Тридцатилетней войны.

Кшечовский был уверен в победе над немцами, так как байдаки их были окружены со всех сторон казаками, но ему хотелось сохранить для Хмельницкого такой значительный отряд хорошо вооруженной пехоты, а потому он вступил с ними в переговоры.

Некоторое время казалось, что Вернер уже соглашается, он спокойно говорил с Кшечовским и внимательно слушал все обещания, на которые изменивший полковник не скупился.

Жалованье, которое задолжала им Речь Посполитая, должно было им быть уплачено немедленно за все истекшее уже время и за год вперед. Через год солдаты могли идти куда угодно, хотя бы в коронное войско.

Вернер, казалось, раздумывал, а сам тем временем тихо отдавал приказания сдвинуть байдаки так, чтобы они образовали замкнутый круг. По краям этого круга стеной стали пехотинцы, рослые и сильные, одетые в желтые колеты и такого же цвета шляпы, в полном боевом порядке, выдвинув левую ногу для стрельбы и держа мушкет в правой руке.

Вернер с обнаженной шпагой в руках стал в первом ряду и долго раздумывал. Наконец он поднял голову:

– Herr Hauptman!³⁹ Мы согласны!

– Вы ничего не потеряете на новой службе! – радостно воскликнул Кшечовский.

– Но с условием...

– Я соглашаюсь заранее!

– Тем лучше! Наша служба кончается в июне; с июля мы перейдем к вам. Проклятие сорвалось с уст Кшечовского, но он сдержался.

– Вы шутите со мной, господин лейтенант? – спросил он.

– Нет! – флегматично ответил Вернер. – Наша солдатская честь велит нам хранить договор. Служба кончается в июне. Мы служим за деньги, но не изменяем. Иначе никто бы нас не нанимал, да и вы сами не доверяли бы нам; кто бы мог вам поручиться, что мы при первой же битве снова не перейдем к гетманам?

– Чего вы хотите?

– Чтобы вы позволили нам уйти!

– Этого не будет, безумец! Я вас всех велю перерезать.

– А сколько вы своих потеряете?

– Ни один из вас не уйдет!

– А вас и половины не останется!

Они были правы. Поэтому Кшечовский, хотя флегматичность немца распалила его кровь и доводила до бешенства, не хотел еще начинать битвы.

– Пока солнце не зашло, – думайте, а потом я велю стрелять! – И Кшечовский поспешно уехал, чтобы посоветоваться с Хмельницким.

Настала минута ожидания. Казацкие байдаки тесным кольцом окружили немцев, сохранявших спокойствие, хладнокровие, доступное только старым и опытным воинам перед опасностью. На оскорбления, угрозы, слышавшиеся то и дело с казачьих байдаков, они отвечали презрительным молчанием. Было что-то импонирующее в этом спокойствии, среди усиливающихся взрывов бешенства со стороны казаков, которые, грозно потрясая своими пиками и пищалями, скрежетали зубами, ругались и нетерпеливо ожидали сигнала к битве.

А солнце, между тем постепенно сворачивая от юга к западу, немного меняло свой золотистый свет на реке. Послышался трубный сигнал, а потом голос Кшечовского вдали:

– Солнце зашло! Надумали вы?

– Да! – ответил Вернер и, повернувшись к солдатам, махнул обнаженной шпагой.

– Feuer!⁴⁰ – скомандовал он спокойным, флегматичным голосом.

Громынуло. Плеск падающих в воду тел, бешеные крики и лихорадочная стрельба были ответом на выстрелы немецких мушкетов. Вытащенные на берег пушки загудели басом и начали осыпать ядрами немецкие байдаки. Река совершенно покрылась дымом, и только мерные залпы мушкетов, раздававшиеся среди криков, гула, свиста татарских стрел, грохота пищалей и самопалов, давали знать о том, что немцы продолжают защищаться.

После захода солнца битва еще продолжалась, но, казалось, ослабевала. Хмельницкий в сопровождении Кшечовского, Тугай-бея и нескольких атаманов подъехал к самому берегу, чтобы следить за битвой. Его раздутые ноздри втягивали пороховой дым, а слух упивался кри-

³⁹ Господин атаман! (нем.)

⁴⁰ Огонь! (нем.)

ками тонущих и умирающих немцев. Все три вождя смотрели на эту резню, как на зрелище, которое вместе с тем было для них счастливым предзнаменованием.

Битва ослабевала. Выстрелы смолкли, зато громкие крики торжествующих казаков понеслись к небу.

– Тугай-бей, – сказал Хмельницкий, – это первый день победы!

– Нет пленных! – проворчал мурза. – Не хочу таких побед.

– Наберем на Украине! Весь Стамбул и Галату наполнишь своими пленниками!

– Возьму тебя, если не будет других!

Сказав это, дикий Тугай рассмеялся зловеще, прибавив через несколько минут:

– А я бы охотно взял этих «франков».

Между тем битва совсем прекратилась. Тугай-бей повернул коня к лагерю, за ним и другие.

– Ну, теперь на Желтые Воды! – воскликнул Хмельницкий.

XV

Наместник, слыша битву, с дрожью ожидал ее окончания, предполагая вначале, что Хмельницкий столкнулся со всеми силами гетманов.

Но под вечер старый Захар вывел его из заблуждения. Весть об измене казаков под предводительством Кшечовского и о резне немцев потрясла до глубины души молодого рыцаря; она предвещала дальнейшие измены, а наместник прекрасно знал, что немалая часть гетманских войск состоит преимущественно из казаков.

Терзания наместника все возрастали, а ликование в запорожском лагере еще прибавляло к ним горечи. Все складывалось самым ужасным образом. О князе не было известий, а гетманы, очевидно, сделали страшную ошибку: вместо того чтобы со всеми силами двинуться к Кудаку или ждать врага в укрепленном лагере на Украине, они разделились и, добровольно ослабив себя, открыли широкое поле измене и вероломству. В запорожском лагере говорилось уже раньше, правда, о Кшечовском и о высылке отдельного войска под предводительством Стефана Потоцкого, но наместник не верил этим слухам. Он думал, что это сильные передовые отряды, которые вовремя отступят назад. А между тем случилось иначе. Хмельницкий, благодаря измене Кшечовского, увеличил свои силы несколькими тысячами казаков, и над молодым Потоцким нависла страшная опасность. Хмельницкому легко было окружить и совершенно уничтожить его, лишенного помощи и заблудившегося в пустыне.

В припадках боли от ран, в бессонные ночи, Скетуский утешал себя мыслью о князе. Звезда Хмельницкого должна потускнеть, когда князь встанет в своих Лубнах. А кто знает, не соединился ли он уже с гетманами? Как велики ни были силы Хмельницкого, как благоприятно для него ни было начало похода, как ни была значительна помощь Тугай-бея, а в случае неудачи и помощь самого крымского «царя», Скетускому и в голову не приходило, что эта смута может продолжаться долго и что один казак может потрясти всю Речь Посполитую и сломить ее грозную мощь. «Эта волна разобьется у порога Украины», – думал наместник. Чем обыкновенно кончались все прежние казацкие бунты? Они вспыхивали как пламя и гасли при первом же столкновении с гетманами. Так было до сих пор. С одной стороны в бой вступало гнездо низовских хищников, с другой – государство, омываемое двумя морями; развязка была понятна. Буря не может продолжаться долго, пройдет, и небо снова прояснится. Эта мысль подкрепляла пана Скетуского, и только она поддерживала его на ногах, ибо бремя, которое он теперь нес, было так тяжело, как никогда в его жизни.

Буря пройдет, но она может опустошить поля, разрушить дома и причинить невознаградимые беды. Ведь благодаря этой буре он сам чуть не лишился жизни, потерял силы и попал в неволю как раз в то время, когда свобода была ему дороже жизни. А как могли пострадать существа более слабые, чем он, и неумеющие защищаться? Что с Еленой в Розлогах?

Но Елена, должно быть, уже в Лубнах. Наместник часто видел ее во сне, окруженную дружескими лицами, приголубленную самим князем и княгиней Гризельдой. Рыцари восхищаются ею, но она тоскует по своему гусару, который пропал где-то в Сечи. Но придет время, и гусар вернется. Ведь сам Хмельницкий обещал ему свободу; да, наконец, казацкая волна все плывет и плывет к порогам Речи Посполитой, и, когда она разобьется, настанет конец его тоске и заботам.

Волна действительно плыла. Хмельницкий без промедления пошел навстречу сыну гетмана. Силы его были уже грозны: с казаками Кшечовского и с чамбулом Тугай-бея он вел с собой около 25 000 опытных и жаждущих битвы воинов. О силах Потоцкого не было точных известий. Беглецы говорили, что он ведет две тысячи тяжелой кавалерии и несколько пушек. Исход битвы при таких силах был сомнителен; случалось, что одной атаки гусар было достаточно, чтобы уничтожить врага, бывшего в десять раз сильнее. Так, Ходкевич, литовский гет-

ман, под Кирхгольмом с тремя тысячами гусар разбил наголову восемнадцать тысяч отборной пехоты и кавалерии; а под Клушином один панцирный полк бешеным натиском разнес несколько тысяч английских и шотландских наемников. Хмельницкий помнил это и, по словам русского летописца, шел медленно и осторожно: «многими ума своего очами, как ловец хитрый, во все стороны глядя и имея стражу на милую, и больше, впереди отряда». Так подошел он к Желтым Водам, где опять было поймано два «языка»; два беглеца подтвердили вести о незначительности сил коронного войска и сообщили, что каштелян переправился уже через Желтые Воды. Узнав это, Хмельницкий остановился как вкопанный и окружил себя шанцами.

Сердце его радостно билось. Если Потоцкий отважится на штурм, то будет разбит. Казаки не умеют биться с панцирными в открытом поле, но, окопавшись, бьются отлично, и при таком превосходстве сил наверняка отразят штурм. Хмельницкий рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Но при молодом каштеляне был опытный солдат, сын живецкого старосты, гусарский полковник Стефан Чарнецкий. Он заметил опасность и убедил каштеляна вернуться назад на Желтые Воды.

Хмельницкому ничего не оставалось как двинуться за ними. На другой день, перейдя желтоводские болота, оба войска стали лицом к лицу.

Но ни один из вождей не хотел ударить первым. Неприятели начали поспешно окружать себя валами. Это было в субботу, 5 мая. Весь день лил дождь. Тучи так заволокли небо, что уж с полудня было совсем темно, точно зимой. Под вечер ливень усилился.

Хмельницкий потирал руки от радости.

– Пусть только размокнет степь, – говорил он Кшечовскому, – и я не колеблясь начну битву с гусарами, они в своих тяжелых доспехах потонут в этом болоте.

А дождь все лил и лил, словно само небо хотело прийти на помощь запорожцам.

Войско лениво и угрюмо окапывалось под этим ливнем. Развести огонь было невозможно. Несколько тысяч ордынцев вышли из лагеря сторожить, чтобы польский отряд не вздумал уйти, пользуясь туманом, дождем и темнотой. Стояла глубокая тишина. Слышался только плеск дождя да шум ветра. Никто, наверное, не спал в обоих отрядах.

На другой день утром затрубили трубы в польском лагере протяжно и жалобно, то тут, то там затрещали барабаны. День вставал мрачный, темный и сырой, ливень прекратился, но шел еще мелкий дождь, точно просеянный сквозь сито.

Хмельницкий велел выстрелить из пушки. За первым выстрелом последовал второй, третий, десятый, и когда между обоими лагерями завязалась обыкновенная пушечная «корреспонденция», Скшетуский обратился к своему казацкому ангелу-хранителю:

– Захар, выведи меня за окопы, я хочу посмотреть, что там делается.

Захару самому было интересно посмотреть, и он не стал перечить. Они пошли на высокий бастион, откуда как на ладони были видны и размокшая степная равнина, и желтоводские болота, и польское войско. Едва взглянув на него, пан Скшетуский схватился за голову и крикнул:

– Боже праведный! Да ведь это только разведчики, не больше!

И действительно, окопы казацкого войска тянулись почти на четверть мили, а польские казались перед ними маленьким шанцем. Неравенство сил было так велико, что победа казаков была несомненна.

Сердце наместника сжалось от боли. Значит, не пришел еще час усмирения бунта и гордыни, а тот, который настанет, будет только новым его триумфом. Так по крайней мере казалось.

Стычки под огнем пушек уже начались. С бастиона виднелись отдельные всадники и целые кучки сражающихся. Это татары бились с казаками Потоцких, одетыми в синие и желтые цвета. Всадники быстро нападали друг на друга и так же быстро отскакивали, заезжали и с боков, стреляя друг в друга из пистолетов и из луков или стараясь закинуть аркан. Стычки эти

издали казались забавой, и только лошади, скакавшие там и сям без седоков, говорили о том, что дело идет о жизни и смерти.

Татар высыпало все больше и больше. Вскоре болото почернело от скупенной татарской массы. Тогда и из польского лагеря стали выходить новые отряды и выстраиваться в боевом порядке перед окопами. Они были так близко, что Скшетуский своими зоркими глазами мог ясно отличить значки и бунчуки, мог даже рассмотреть ротмистров и наместников, стоявших по бокам знамен.

Сердце его забилося, и яркий румянец выступил на бледном лице; и, точно надеясь встретить сочувственных слушателей в Захаре и казаках, стоявших на бастионе у пушек, он, глядя из-за окопов на знамена, с увлечением восклицал:

– Это драгуны Балабана; я видел их в Черкасах. А это валахский полк, у них крест на знамени! А вот пехота выступает!

Потом с еще большим восторгом, подняв руки, он крикнул:

– А вот и гусары! Гусары пана Чарнецкого! Действительно, показались и гусары⁴¹.

Над их головами виднелась целая туча крыльев и лес торчащих кверху копий, украшенных золотистой китайкой и зеленовато-черными значками. Они выезжали из-за окопов по шести в ряд и выстраивались у вала; при виде их спокойствия и выправки на глазах пана Скшетуского выступили слезы радости и на минуту заволокли их.

Хотя силы были так неравны, хотя против этих нескольких отрядов чернела целая лавина запорожцев и татар, которые, как всегда, заняли оба крыла и так далеко раскинулись по степи, что им не видно было конца, все-таки Скшетуский верил в победу. Лицо его улыбалось, силы вернулись; глаза, устремленные в поле, горели огнем, и он не мог устоять на месте.

– Гей, дetyна, – пробормотал старый Захар, – и рада бы душа в рай? Между тем несколько отдельных татарских отрядов с криками «Алла!»

бросились вперед. Из лагеря их ответили выстрелами. Но это была только угроза: татары, не добежав даже до польских полков, рассыпались в обе стороны и, вернувшись к своим, исчезли в толпе.

Но вот раздался звук большого сечевого барабана, и по его сигналу огромный казацко-татарский полукруг поскакал вперед. Хмельницкий пытался одним взмахом уничтожить отряд и захватить обоз. В случае паники это было бы возможно. Но ничего подобного не замечалось в польском войске. Оно стояло спокойно, развернувшись в длинную линию, защищенную с тыла валом, а с боков – пушками, так что ударить в него можно было только с фронта. Несколько минут казалось, что поляки примут битву на месте, но, когда неприятельский отряд проехал уже половину поля, в польском отряде затрубили сигнал к атаке, и вдруг лес копий, торчавший до тех пор кверху, сразу склонился на высоту конских голов.

– Гусары атакуют! – крикнул Скшетуский.

Гусары пригнулись к седлам и тронулись вперед, за ними двинулись драгунские полки и вся боевая линия. Удар гусар был страшен. При первом же натиске они наткнулись на три куреня – два Стебловских и один Миргородский – и стерли их в одно мгновение. Крики их долетели даже до слуха пана Скшетуского. Кони и люди, сбитые с ног страшной тяжестью железных всадников, падали, как лес в бурю. Сопротивление было так коротко, что Скшетускому казалось, будто какой-то огромный дракон сразу поглотил эти три полка. А ведь это были лучшие воины в Сечи. Испуганные шумом гусарских крыльев, лошади начали производить замешательство в рядах запорожцев. Полки Иркеевский, Кальниболоцкий, Минский, Шкуринский и Титоровский смешались совершенно и под напором отступающих стали сами в бес-

⁴¹ Польские гусары (старопольские *usagu*, или *гусария*) – закованные в сталь всадники; на спине у них были приделаны длинные и высокие крылья, которые своим шумом во время атаки пугали неприятельских лошадей. Лучшее войско Речи Посполитой. – *Примеч. перев.*

порядке отступать. А между тем драгуны догнали гусар и вместе с ними принялись за кровавую жатву. Васюринский курень после отчаянного, но короткого сопротивления рассеялся и в дикой панике бежал до самых казацких окопов. Центр сил Хмельницкого ломался все больше и, сбитый в беспорядочную массу, под ударами мечей, под натиском железной лавины, не мог улучшить минуты, чтобы выстроиться снова.

– Черти, не ляхи! – крикнул старый Захар.

Скшетуский был точно в бреду. Будучи больным, он не мог владеть собой: он одновременно и смеялся, и плакал, а по временам даже кричал слова команды, точно сам командовал полком. Захар держал его за полы и должен был позвать на помощь других.

Битва так близко подошла к казацкому табору, что можно было даже различить лица. Из окопов стреляли из пушек, но казацкие ядра, поражая наравне с неприятелем и своих, еще больше увеличивали смятение. Гусары натолкнулись на пашковский курень, который составлял гвардию и среди которого находился сам Хмельницкий. Вдруг страшный крик раздался в рядах запорожцев: малиновая хоругвь покачнулась и упала.

Но в эту минуту во главе своих пяти тысяч казаков в бой вступил Кшечовский.

Сидя на огромном буланом коне, он мчался в первом ряду без шапки, с саблей над головой, сзывая к себе убегающих казаков, которые, увидев подошедшую помощь, возвращались назад и хоть беспорядочно, но все же приступали к атаке. В середине линии снова закипела борьба. Счастье изменило Хмельницкому и на обоих флангах. Татары, дважды отбитые валашским полком и казаками Потоцкого, потеряли всякую охоту к битве. Под Тугай-беем были убиты две лошади. Победа решительно клонилась на сторону молодого Потоцкого...

Но битва продолжалась недолго. Ливень, с некоторого времени все усиливавшийся, мешал даже различать предметы. Дождь лил уже целыми потоками, точно кто-нибудь открыл небесные шлюзы. Степь превратилась в озеро. Стало так темно, что в нескольких шагах нельзя было разглядеть человека. Шум дождя заглушал команды. Подмоченные мушкеты и самопалы поневоле смолкли. Само небо положило конец резне...

Хмельницкий, промокший до нитки, взбешенный, влетел в свой табор. Он никому не сказал ни слова. Ему разбили палатку из верблюжьих шкур, куда он укрылся в одиночестве и думал горькие думы.

Его охватило отчаяние. Он только теперь понял, за какое дело взялся. Он был побит, отброшен, почти уничтожен в битве с такими незначительными силами, которые мог справедливо считать простым передовым отрядом. Он знал, как велика оборонительная сила Речи Посполитой, и принимал ее в расчет, решаясь начать войну, но ошибся. Так, по крайней мере, казалось ему в эту минуту; он хватался за бритый лоб, точно желая разбить его о первое попавшееся орудие.

А что будет, когда придется иметь дело с гетманами и со всей Речью Посполитой?

Его размышления были прерваны приходом Тугай-бея.

Глаза татарина горели бешенством, лицо было бледно, а зубы сверкали из-под безусой губы.

– Где добыча? Где пленные? Где головы вождей? Где победа? – спрашивал он хриплым голосом.

Хмельницкий вскочил с места.

– Там! – ответил он громко, указывая в сторону коронного войска.

– Иди же туда! – заревел Тугай-бей. – А не пойдешь, так тебя на веревке в Крым потащу!

– Пойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду еще сегодня! Добычу возьму и пленных возьму, но ты ответишь за все хану: хочешь добычи, а избегаешь боя!

– Пес! – крикнул Тугай-бей. – Ты губишь ханское войско.

И несколько мгновений они стояли друг против друга, раздув ноздри. Первым пришел в себя Хмельницкий.

– Тугай-бей, успокойся! – сказал он. – Дождь помешал битве, Кшечовский разбил было драгун. Я знаю их; завтра они будут биться уже не так бешено. До завтра степь совсем размокнет. Гусары падут. Завтра все будут наши!

– Смотри же! – проворчал Тугай-бей.

– Я сдержу свое слово! Тугай-бей, друг мой! Ведь хан прислал мне тебя на помощь, а не на беду.

– Ты обещал победы, а не поражения!

– Взято несколько драгун в плен, я отдам их тебе.

– Отдай. Я велю посадить их на кол!

– Не делай этого! Отпусти их на волю. Это украинцы из полка Балабана; мы пошлем их переманить на нашу сторону драгун. Будет то же, что и с Кшечовским.

Тугай-бей повеселел, он быстро взглянул на Хмельницкого и пробормотал:

– Змея!

– Хитрость стоит мужества. Если они подговорят драгун к измене, то из их лагеря не уйдет ни одна нога, – понимаешь?

– Потоцкого возьму я!

– Я тебе отдам и Чарнецкого.

– А пока дай водки! Холодно.

– Ладно!

В эту минуту вошел Кшечовский. Полковник был мрачен как ночь. Будущие староства, каштелянства, замки и богатства после сегодняшней битвы подернулись туманом. Завтра они могут исчезнуть совсем, а из тумана вместо них вынырнет веревка или виселица. Если бы не полковник, который, вырезав немцев, сжег за собой мосты, он наверное раздумывал бы теперь, как изменить Хмельницкому и перейти со своими казаками на сторону Потоцкого.

Но это было уже невозможно.

Они втроем уселись за ковшом водки и принялись молча пить.

Стемнело.

Скшетуский, обессиленный радостью, утомленный, бледный, лежал неподвижно в своей телеге.

Захар, искренне полюбивший его, велел своим казакам растянуть над ним войлочный навес. Наместник прислушивался к унылому шуму дождя, но на душе у него было светло и ясно. Его гусары показали, на что они способны, его Речь Посполитая дала отпор, достойный ее величия; вот уже первый натиск казацкой бури разбился о копья коронных войск. А ведь есть еще гетманы, князь Еремия, сколько панов, сколько шляхты, и над всеми ими – король, *primus inter pares*!⁴²

Грудь Скшетуского вздымалась от гордости, точно все это могущество и вся сила заключались теперь в нем одном.

Осознав это, он в первый раз после утраты им в Сечи свободы почувствовал некоторую жалость к казакам. «Они виноваты, но ведь они в ослеплении бросались на солнце с киркой, – подумал он. – Они виноваты, но и несчастны, так как дали увлечь себя человеку, который ведет их на явную гибель».

Потом мысли его потекли дальше. Настанет мир, и тогда каждый будет иметь право думать о своем личном счастье. Тут Скшетуский всеми помыслами и всей душой унесся в Розлоги. Там, по соседству с львиной пещерой, наверное, все тихо. Бунт не осмелился поднять там свою голову, а если и поднимет, то Елена уж, наверное, в Лубнах...

Вдруг грохот пушек оборвал золотые нити его дум. Это Хмельницкий, напившись, снова повел полки в атаку.

⁴² Первый среди равных (*лат.*).

Но все кончилось пушечной пальбой: Кшечовский удержал гетмана.

На следующий день было воскресенье. Весь день прошел спокойно, без выстрелов. Войска стояли друг против друга, словно во время перемирия.

Скшетуский приписывал эту тишину упадку духа среди казаков. Он не знал, что Хмельницкий, «многими ума своего очами глядя вперед», занят теперь тем, как бы уговорить драгун Балабана перейти на сторону запорожцев.

В понедельник битва началась с рассвета. Скшетуский смотрел на нее, как и на первую, с улыбающимся, радостным лицом. И снова коронные полки вышли из-за окопов, но на этот раз не пустились в атаку, а давали отпор неприятелю с места. Степь размокла на значительную глубину. Тяжелая конница почти не могла двигаться, что и дало сразу перевес легким казацким и татарским полкам. Улыбка понемногу исчезала с лица Скшетуского. Под польским окопом лавина атакующих почти совсем покрыла узкую линию коронных войск. Казалось, что вот-вот цепь прорвется, и тогда начнется атака самих окопов. Пан Скшетуский не видел и половины того воодушевления и жажды битвы, с каким польские полки бились в первый день. Они защищались отчаянно и сегодня, но уже не ударили первые, не разбивали в пух и прах куреней и не очищали перед собой поля. Размокшая на большую глубину почва степи делала невозможной атаку и как бы пригвоздила тяжелую кавалерию к окопам.

Вся сила ее заключалась в размахе и натиске, а сегодня она принуждена была стоять на месте. Хмельницкий между тем вводил в бой новые и новые полки. Он был всюду. Сам водил в атаку каждый курень и оставлял его только под неприятельскими саблями. Его пыл понемногу сообщился и запорожцам, которые с криком и воем наперебой бросались на окопы и падали густыми рядами. Ударялись о железную стену грудей, об острия копий и, разбитые, почти перебитые, снова бросались в атаку. Под этим напором польские полки пошатнулись и местами начали отступать; так борец, охваченный железными руками противника, то слабеет, то снова собирается с силами.

К полудню почти все запорожские силы были в огне и в бою. Битва кипела так яростно, что между двумя линиями сражающихся образовался новый вал из лошадиных и человеческих трупов.

Каждую минуту в казацкие окопы возвращались с битвы вереницы раненых воинов, окровавленных, покрытых грязью и падающих от изнеможения. Но все они возвращались с песнями. Лица их горели пылом битвы и уверенностью в победе. Теряя уже сознание, они все еще кричали: «Погибель ляхам!» Резерв, оставленный в лагере, рвался в бой.

Лицо Скшетуского омрачилось. Польские полки начали уходить с поля за окопы. Они не могли уже держаться, и в их отступлении была заметна лихорадочная поспешность. Увидев это, двадцать тысяч казацких голосов радостно закричали. Напор атак удвоился. Запорожцы сели на шею казакам Потоцкого, которые прикрывали собой отступление. Но пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. Битва на минуту прекратилась.

В польском лагере раздался звук парламентерской трубы.

Но Хмельницкий не хотел вести переговоров; двенадцать куреней спешили, чтобы вместе с пехотой и татарами начать штурм вала. Кшечовский с тремя тысячами пехоты должен был помочь им в решительную минуту. Раздались звуки барабанов, литавр и труб, заглушавшие крики и залпы мушкетов.

Пан Скшетуский с дрожью смотрел, как длинные ряды несравненной запорожской пехоты побежали к валу и окружили его тесным кольцом. Навстречу им из окопов вырвались длинные ленты белого дыма, точно чья-то исполинская грудь хотела сдунуть с себя эту саранчу, неумолимо напиравшую со всех сторон. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды, – выстрелы самопалов участились. Гул не смолкал ни на минуту... Весь этот муравейник таял на глазах, судорожно корчился местами, как раненый змей-великан, но все-таки шел вперед. Вот они бегут, вот они уже у вала! Пушки больше не могут вредить им!

Скшетуский закрыл глаза.

Вопросы, быстрые как молния, пролетели у него в голове: увидит ли он еще на валах польские знамена, когда откроет глаза, или нет? Шум там все увеличивался и был какой-то необычайный. Что-то случилось?.. Крики раздаются из окопов... Что же случилось?

– Боже Всемогущий! – Этот крик вырвался из груди Скшетуского, когда, открыв глаза, он увидел на валу вместо золотой коронной хоругви малиновую с изображением архангела.

Польский лагерь был взят.

Наместник только вечером узнал от Захара о ходе штурма. Тугай-бей недаром назвал Хмельницкого змеей: в минуту самой отчаянной битвы подговоренные им драгуны Балабана перешли вдруг на сторону казаков и, бросившись с тыла на свои полки, помогли их уничтожить.

В тот же вечер Скшетуский видел пленников и присутствовал при кончине молодого Потоцкого, у которого было пробито стрелой горло; он прожил всего несколько часов после битвы и умер на руках пана Стефана Чарнецкого.

– Скажите отцу, – шепнул в последнюю минуту молодой каштелян, – скажите отцу, что я... как рыцарь!

И больше он ничего не мог сказать. Душа оставила тело и отлетела на небо.

Скшетуский долго помнил потом это бледное лицо и эти голубые глаза, устремленные вверх в минуту смерти.

Пан Чарнецкий дал обет над остывающим его телом, что если Бог поможет ему вернуть свою свободу, то он потоками неприятельской крови смоет смерть друга и позор этого поражения. И ни одной слезы не было видно на его суровом лице; это был железный рыцарь, известный чудесами своей храбрости, который никогда еще не сгибался ни под каким несчастьем. Он сдержал свой обет. Теперь, вместо того чтобы поддаваться отчаянию, он первый стал ободрять Скшетуского, который мучительно страдал от поражения и позора Речи Посполитой.

– Речь Посполитая перенесла не одно бедствие, – говорил Чарнецкий, – в ней неисчерпаемая сила. Ее не сломила еще никакая другая мощь, не сломят и бунты холопов; Бог сам покарает их, ибо, восставая против власти, они противятся его воле. Что касается поражения, то, правда, оно ужасно, но кто же потерпел его? Гетман? Коронные войска? Нет! После предательства Кшечовского отряд, который вел Потоцкий, мог считаться лишь простым авангардом. Бунт, несомненно, распространится по всей Украине, но ведь бунты там не новость! Гетман и князь Еремия подавят его, силы их ведь еще не тронуты, чем сильнее вспыхнет бунт, тем надолше он утихнет, может быть, навсегда. Слишком малодушным и маловерным был бы тот, кто мог бы допустить мысль, что какой-нибудь казацкий бродяга и татарский мурза могут серьезно грозить могучему народу. Плохо пришлось бы Речи Посполитой, если бы ее судьба и существование зависели от простой мужицкой смуты.

– Мы поистине с презрением шли в этот поход, – закончил Чарнецкий, – и хотя отряд наш уничтожен, я думаю, что гетманы могут подавить этот бунт не мечом, не оружием, а просто батогами.

Когда он говорил это, казалось, будто говорит не пленник и не воин после проигранного сражения, а гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Это величие души и вера в Речь Посполитую действовали как бальзам на раны наместника. Он видел вблизи силу Хмельницкого, поэтому она и ослепила его немного, тем более что до сих пор ее сопровождала удача. Но пан Чарнецкий, должно быть, был прав. Силы гетманов были еще нетронуты, а за ними стояло все могущество Речи Посполитой, сила права, и власти, и воли Божией!

Наместник ушел от Чарнецкого с ободренной душой и легким сердцем; на прощанье он спросил Чарнецкого, не желает ли тот сейчас же начать переговоры с Хмельницким об освобождении.

– Я пленник Тугай-бея, – ответил пан Стефан, – и заплачу ему выкуп, а с этим бродягой я не хочу иметь дела, черт с ним!

Захар, который и устроил Скшетускому свидание с пленными, провожая его обратно до телеги, тоже утешал его по дороге:

– Не с молодым Потоцким трудно, с гетманами будет трудно. Дело только начато, а каков будет конец – бог знает. Набрали казаки и татары польского добра, да вот спрятать – это другое дело! А ты, детына, не печалься, не тужи... Получишь свободу, уйдешь к своим, а я, старик, буду тужить по тебе. На старости хуже всего – одному быть на свете. Да, с гетманами трудно будет, ой трудно!

И действительно, победа эта, хоть и блестящая, не решала все же дела в пользу Хмельницкого. Она могла даже повредить ему, так как легко можно было предвидеть, что теперь великий гетман, мстя за смерть сына, бросится на запорожцев с особенным ожесточением и ни перед чем не остановится, чтобы сразу их уничтожить. Великий гетман не особенно любил князя Еремию и хотя маскировал это любезностью, но довольно часто проявлял свою нелюбовь в различных обстоятельствах. Хмельницкий, прекрасно зная это, предполагал, что теперь эта натянутость исчезнет и что краковский пан первый протянет руку примирения, которое обещает ему помощь славного воина и его мощного войска. А с такими соединенными силами, да еще под командой такого вождя, как князь, Хмельницкий еще не смел мериться силой, так как сам еще не слишком верил в себя. Он решил поэтому спешить, чтобы одновременно с известием о желтоводской битве и ее исходе явиться на Украину и ударить на гетманов прежде, чем подоспеет княжеская помощь.

Он не дал войскам отдохнуть и на другой день после битвы на рассвете двинулся в поход, не дав даже отдохнуть войску. Он шел так быстро, точно гетман убегал от него. Казалось, будто огромная река разлилась по всей степи и мчится вперед. Они миновали леса, дубравы, курганы и безостановочно переправлялись через реки. Казацкие войска все усиливались по дороге, так как к ним постоянно приставали все новые толпы бегущих из Украины казаков. Они приносили вести и о гетманах, но разноречивые: одни говорили, что князь сидит еще за Днестром, другие, что уже соединился с коронными войсками. Мужики не только бежали навстречу Хмельницкому в Дикие Поля, но и поджигали города и села, нападали на своих панов и повсюду вооружались. Коронные войска бились уже две недели. Вырезан был Стеблов, а под Деренговцами произошла кровавая битва. Городские казаки кое-где перешли уже на сторону черни и всюду ждали лишь сигнала. Хмельницкий рассчитывал на все это и торопился еще больше.

Наконец он остановился на подступах: Чигирин настезь открыл ему свои ворота. Казацкий гарнизон тотчас перешел на его сторону. Разгромили дом Чаплинского, вырезали часть шляхты, искавшей убежища в городе. Радостные крики, колокольный звон и процессии ни на минуту не прекращались. Пожар охватил уже всю окрестность. Все живое бралось за косы и пики и присоединилось к запорожцам. Несметные толпы черни стекались в лагерь со всех сторон; дошли также и радостные, верные вести, что князь Еремия, правда, обещал свою помощь гетманам, но еще с ними не соединился.

Хмельницкий вздохнул облегченно.

Он немедленно двинулся вперед и шел уже среди бунта, резни и огня. Об этом свидетельствовали трупы и пепелища. Он двигался, точно лавина, уничтожая все на своем пути. Пред ним был заселенный край, за ним пустыня. Он шел, как мститель, как легендарный дракон, шаги его выжимали кровь, дыхание вызывало пламя пожаров.

В Черкасах он остановился с главными силами, выслав вперед татар под начальством Тугай-бея и дикого Кривоноса; догнав гетманов под Корсунем, они бросились на них, не колеблясь.

Но эта смелость дорого им стоила. Отраженные, уничтоженные и разбитые наголову, они отступили в смятении.

Хмельницкий бросился к ним на помощь. Дорогой до него дошло известие, что пан Сенявский с несколькими полками присоединился к гетманам, которые оставили Корсунь и шли в Богуслав. Это была правда. Хмельницкий занял Корсунь без сопротивления и, оставив там запасы и провиант, словом, весь табор, погнался за гетманами.

Ему не пришлось гнаться долго, так как они не успели далеко уйти. Под Крутой Балкой его передовые отряды наткнулись на польский лагерь.

Скшетускому не дано было видеть эту битву, так как он остался в Корсуне вместе с табором. Захар поместил его в доме пана Забокшицкого, которого чернь повесила, и приставил к нему стражу из уцелевших казаков миргородского куреня, так как толпа продолжала грабить дома и убивать каждого, кто казался ей ляхом. Скшетуский видел сквозь выбитые стекла окон целые толпы пьяных, забрызганных кровью мужиков, которые, засучив рукава, бродили из дома в дом, из лавки в лавку, перешаривая все углы и чердаки; порою страшный крик давал знать, что нашли шляхтича, мужчину, женщину, ребенка, или нашли еврея. Жертву тащили на рынок, где подвергали ее самому ужасному надругательству. Толпа дралась между собой из-за остатков трупов, с наслаждением обмазывала себе кровью лицо и грудь, обвивала вокруг шеи еще дымящиеся внутренности, мужики хватали еврейских детей за ноги и разрывали их надвое среди безумного смеха толпы; бросались даже на дома, окруженные стражей, где заперты были знатнейшие пленники, которых оставили в живых в надежде получить за них богатый выкуп. Татары и казаки, стоявшие на страже, отталкивали толпу, колотили по головам нападающих древками пик, луками и плетью из бычьей кожи.

То же самое было у дома, где находился Скшетуский. Захар велел бить чернь без милосердия; миргородцы с наслаждением исполняли это приказание; низовцы охотно принимали во время бунтов помощь черни, но относились к ней несравненно презрительнее, чем к шляхте. Ведь недаром назывались они «благородно урожденными казаками». Сам Хмельницкий впоследствии дарил не раз татарам значительные толпы черни, которые уводились татарами в Крым, где их продавали в Турцию и Малую Азию.

Толпа, безумствовавшая на рынке, дошла до такого дикого неистовства, что под конец стала убивать и своих. День клонился к вечеру. Подожгли одну сторону рынка, церковь и дом священника. К счастью, ветер относил огонь в поля и препятствовал распространению пожара. Громадное зарево осветило рынок, словно яркий солнечный свет. Стало невыносимо жарко. Издали доносился страшный грохот пушек: должно быть, битва под Крутой Балкой становилась ожесточенной.

– Жарко там, должно быть, нашим! – ворчал старый Захар. – Гетманы не шутят! Ой, Потоцкий настоящий воин!

И он указывал в окно на чернь:

– Ну они теперь гуляют, но если Хмель будет разбит, то и ляхи погуляют с ними!

В эту минуту раздался конский топот, и на рынок въехало несколько десятков всадников на взмыленных лошадях. Их лица, почерневшие от пороха, растерзанная одежда и обвязанные тряпками головы свидетельствовали, что эти солдаты примчались прямо с поля битвы.

– Люди, спасайтесь, кто в Бога верует! Ляхи бьют наших! – кричали они благам матом.

Поднялся крик и суматоха. Толпа заколыхалась, как волна, разгоняемая ветром. Вдруг дикая паника овладела толпой; люди бросились бежать, но улицы были запружены возами, одна часть рынка была охвачена пламенем, и бежать было некуда.

Чернь начала толпиться, кричать, бить, душить и молить о пощаде, хотя неприятель был еще далеко.

Скшетуский, услышав, что творится, чуть не сошел с ума от радости; он начал бегать по комнате, как помешанный, колотил себя в грудь изо всей силы и кричал:

– Я знал, что так будет! Знал! Теперь они имеют дело с гетманами! Со всей Речью Посполитой! Час возмездия настал! Что это?

Снова раздался топот, и на рынке появилось на этот раз уже несколько сотен всадников, одних только татар. Они бежали сломя голову; толпа загораживала им дорогу, они бросались в нее, топтали, били, разгоняли и секли нагайками и пробивались на дорогу, ведущую в Черкасы.

– Шибче ветра бегут! – кричал Захар.

Едва он успел вымолвить это, как мимо проскакал другой отряд, за ним третий; бегство казалось уже всеобщим. Стража около домов заволновалась и тоже обнаруживала желание бежать. Захар выскочил на крыльцо.

– Стоять! – крикнул он своим миргородцам.

Дым, жара, замешательство, лошадиный топот, встревоженные голоса и вой толпы, освещенной пожаром, – все это слилось в какую-то адскую картину, на которую наместник смотрел из окна.

– Какой там погром должен быть! – кричал он Захару, забывая, что тот не мог разделять его радости.

Между тем как молния промчался новый отряд беглецов.

Грохот пушек потрясал стены корсунских домов.

Вдруг чей-то пронзительный голос закричал у самого дома.

– Спасайтесь! Хмель убит! Кшечовский убит! Тугай-бей убит! На рынке началось настоящее светопреставление.

Люди в безумии бросались прямо в огонь. Наместник упал на колени и поднял вверх руки.

– Боже Всемогущий! Боже Великий и Праведный! Слава тебе в вышних! Захар прервал его молитву, вбежав в избу.

– Ну-ка, дetyна, – крикнул он, запыхавшись, – выйди и пообещай миргородцам пощаду: они хотят уходить, а как уйдут, чернь сюда бросится.

Скшетуский вышел на крыльцо... Миргородцы беспокойно вертелись перед домом, обнаруживая явное желание бросить все и бежать на дорогу, ведущую к Черкасам.

Страх обуял всех в городе. Со стороны Крутой Балки словно на крыльях мчались все новые и новые толпы беглецов. Бежали мужики, татары, городские казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, должно быть, еще давали отпор; исход битвы еще не выяснился, так как пушки грохотали с удвоенной силой. Скшетуский обратился к миргородцам:

– За то, что вы верно охраняли мою особу, – торжественным голосом сказал он, – вам не надо спасаться бегством, я обещаю вам милость гетмана.

Миргородцы все до одного обнажили головы, а он подбоченился и гордо поглядывал на них и на рынок, который пустел все больше и больше. Что за перемена судьбы! Скшетуский, которого еще недавно везли в обозе как пленника, стоял теперь между дерзкими казаками, как господин между подданными, как шляхтич между холопами, как панцирный гусар между обозной челядью. Он, пленник, обещает теперь пощаду, и головы обнажаются при виде его, и люди угрюмым, причитающим голосом, со страхом и покорностью взывают к нему:

– Помилуйте, пане!

– Как я сказал, так и будет! – сказал наместник.

Он действительно был уверен в этом, так как был знаком гетману, которому не раз возил письма от князя Еремии.

Он стоял подбоченившись, а лицо его, ярко освещенное заревом пожара, светилось радостью.

«Вот война уж и кончена! Волна разбилась о порог! – думал он. – Чарнецкий был прав: силы Речи Посполитой неисчерпаемы и могущество ее непоколебимо».

И он гордился этим. Гордился не тем, что враг разбит и унижен, и не тем, что он свободен и перед ним снимают шапки, а тем, что он сын этой победоносной и могучей Речи Посполитой, о стены которой разбиваются все напасти и удары, как адские силы о врата неба. Он гордился,

как шляхтич-патриот, который остался тверд в несчастье и не обманулся в своей вере. Он уж не жаждал больше мести.

«Разгромила их, как королева, но простит их как мать», – думал он.

Между тем гром пушечных выстрелов сливался в непрерывный грохот.

По пустынным улицам снова зазвенели конские копыта. На рынок как молния влетел на неоседланном коне казак без шапки, в одной рубашке и с залитым кровью лицом. Влетел, осадил коня, распростер руки и, ловя открытыми устами воздух, закричал:

– Хмель бьет ляхов! Побиты ясновельможные паны – гетманы, полковники, рыцари, кавалеры!

Крикнув это, он зашатался и рухнул на землю. Миргородцы подскочили к нему на помощь.

Лицо Скшетуского вспыхнуло и побледнело.

– Что он говорит? – лихорадочно обратился он к Захару. – Что случилось? Не может быть! Ради бога! Не может быть!

Тишина... Только на другом конце рынка, рассыпая снопы искр, бушевал огонь да по временам с треском обрушивались горевшие дома. Но вот летят новые гонцы.

– Побиты ляхи! Побиты!

За ними тянется отряд татар: они идут медленно, окружив пеших пленных.

Скшетуский не верит глазам. Он отлично узнает на пленниках мундиры гетманских гусар и, всплеснув руками, каким-то странным, не своим голосом упорно повторяет:

– Не может быть! Не может быть!

Грохот пушек все еще слышен. Битва еще не кончена. Все уцелевшие от пожара улицы наполнены толпами запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжело дышат, но возвращаются ликуя, с пением.

Так возвращаются воины после победы.

Наместник побледнел как мертвец.

– Не может быть! – повторял он хрипло. – Не может быть! Речь Посполитая!..

Его внимание привлекает что-то новое. Едут казаки Кшечовского с целой кучей знамен. Въезжают на середину рынка и бросают их на землю.

Увы, польские!

Грохот пушек слабеет; вдали слышится стук подъезжающих возов; впереди едет высокая казацкая телега, за ней ряд других, окруженных казаками пашковского куреня в желтых шапках; они проходят около самого дома, где стоят миргородцы.

Пан Скшетуский приложил руку к глазам, так как его ослеплял блеск пожара, и всматривался в лица пленников, сидевших на первом возу.

Вдруг он отскочил назад, ловя руками воздух, точно пораженный стрелой в грудь, с губ его сорвался страшный, нечеловеческий крик:

– Иезус, Мария! Это – гетманы!

И он упал на руки Захара, глаза его закатились, а лицо напряглось и застыло, как у покойника.

Несколько минут спустя три всадника во главе бесчисленного множества полков въезжали на площадь корсунского рынка. Средний, одетый в красное, сидел на белом коне, подбоченившись, с золоченой булавой, гордо, по-рыцарски поглядывал кругом.

Это был Хмельницкий. По бокам его ехали Тугай-бей и Кшечовский.

Речь Посполитая лежала во прахе и крови у ног казака.

XVI

Прошло несколько дней. Всем казалось, что небесный свод обрушился на Речь Посполитую. Желтые Воды, Корсунь, уничтожение коронных войск, всегда одерживавших победу над казаками, плен гетманов, страшный пожар по всей Украине, неслыханная резня и убийства – все это обрушилось так неожиданно, что люди почти не хотели верить, что сразу столько бедствий могло постигнуть одну страну. Многие и не верили, многие цепенели от ужаса и сходили с ума, другие предсказывали пришествие Антихриста и близость Страшного суда. Порвались все общественные связи, все человеческие и родственные узы. Исчезла всякая власть, пропало различие между людьми. Ад спустил с цепей все преступления и послал их гулять по свету: убийство, грабеж, вероломство, зверское насилие, разбой и неистовство заменили труд, честность, веру и совесть. Казалось, что люди отныне будут жить уже не добром, а только, злом, что переменились чувства и мысли: то, что прежде казалось бесчестным, считалось теперь святыней; солнце не светило уж больше: его застилал дым пожаров, а по ночам зарево заменяло звезды и луну. Пылали города, деревни, костелы, усадьбы, леса. Люди перестали говорить, а лишь стонали и выли, как псы. Жизнь потеряла цену. Тысячи людей гибли без следа, без воспоминания. А среди всех этих ужасов, убийств, стонов, дыма и пожаров возвышался только один человек, вырастая, как гигант, почти заслоняя дневное светило и бросая тень от моря до моря.

Это был Богдан Хмельницкий.

Двести тысяч людей, вооруженных и опьяненных победой, ждали только его сигнала.

Чернь восставала всюду; городские казаки присоединялись к нему везде. Вся страна, от Припяти до степных окраин, была охвачена огнем; восстание разрасталось в воеводствах – Русском, Подольском, Волынском, Брацлавском, Киевском и Черниговском. Могущество гетмана росло с каждым днем. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла против самого страшного врага и половины тех сил, какими он располагал теперь. Таких сил не было даже и у императора австрийского. Буря превзошла все ожидания. Сам гетман не сознавал сначала своего могущества и не понимал, как высоко он поднялся. Он прикрывался еще справедливостью и верностью Речи Посполитой, ибо еще не знал, что это только слова, которыми он может пренебречь безнаказанно. Но по мере усиления его могущества в нем возрастал бессознательный и безграничный эгоизм, равного которому не знает история. Понятия о добре и зле, о пороке и добродетели, о насилии и справедливости слились в душе Хмельницкого в одно понятие о личной обиде или личной выгоде. Добродетельным был для него тот, кто был с ним заодно; преступным тот, кто был против него. Он готов был сетовать на солнце и считать личной обидой то, что оно не светило тогда, когда ему это было нужно. Людей, события и весь мир он мерил собственным «я». И, несмотря на все лицемерие, на всю хитрость гетмана, он был чудовищно искренен в этом взгляде. Отсюда проистекали все злодеяния Хмельницкого, но вместе с тем и добрые его дела, ибо он не знал меры в издевательствах и жестокости в отношении к врагу, зато умел быть благодарным за все, хотя бы невольно оказанные ему, услуги. И лишь когда он бывал пьян, то забывал о благодеяниях и, рыча от бешенства, с пеной на губах отдавал страшные приказания, о которых жалел потом. А чем сильнее рос его успех, тем чаще он напивался, так как все большая тревога охватывала его душу. Казалось, что удача подняла его на такую высоту, какой он и сам не хотел.

Его могущество ужасало не только других, но и его самого. Огромная река бунта неумолимо несла его с быстротой молнии, но куда? Чем должно все это кончиться? Начиная восстание во имя личных обид, этот казачий дипломат мог рассчитывать, что после первых же успехов или даже поражений он начнет переговоры; его простят и предложат удовлетворение за причиненные ему обиды и потери. Он хорошо знал Речь Посполитую, ее безграничное, как

море, терпение, ее милосердие, не знающее границ и меры, которое вытекало не только из слабости; ведь Наливайке, окруженному и обреченному, даровали прощение.

Теперь, после победы на Желтых Водах, после поражения гетманов, после того, как домашняя война разгорелась во всех южных воеводствах, когда дело зашло так далеко и обстоятельства превзошли все его ожидания, теперь должна завязаться борьба на жизнь или на смерть.

Но на чьей стороне будет победа?

Хмельницкий прибегал и к гаданию по звездам, стараясь проникнуть в будущее, но видел перед собой только мрак. Временами от страшного беспокойства волосы вставали у него на голове дыбом, а в груди, подобно буре, бушевало отчаяние. Что будет? Что будет?

Хмельницкий, видевший все зорче других, прекрасно понимал, что Речь Посполитая только не умеет пользоваться своими силами и даже не сознает их, но что силы эти огромны. А если бы кто-нибудь захватил в свои руки эти силы, кто устоял бы тогда против нее? А кто мог предугадать, не уничтожит ли страшная опасность и близость гибели внутренние раздоры, личные счеты и зависть панов, своеволие, сеймовую болтовню, безобразия шляхты и бессилие короля? Полмиллиона одной только шляхты могло выйти в поле и уничтожить Хмельницкого, хотя бы ему помогал не только крымский хан, но и сам турецкий султан.

Об этой дремлющей силе Речи Посполитой знал еще кроме Хмельницкого покойный король Владислав, и потому он всю свою жизнь трудился над тем, чтобы начать борьбу не на жизнь, а на смерть с сильнейшим в мире монархом, ибо только этим путем можно было вызвать к жизни эту силу. Поэтому король не побоялся даже возбуждать казаков. Уж не было ли суждено казакам вызвать это наводнение для того, чтобы наконец утонуть в нем самим?

Хмельницкий понимал также, насколько страшен отпор этой Речи Посполитой, несмотря на всю ее слабость. Отсутствие в ней единодушия, своеволие шляхты, безвластие не помешали разбиться об ее стены самым страшным из всех волн, турецким волнам. Так было под Хотинном, и он видел это собственными глазами. Та же Речь Посполитая даже во времена своей слабости водружала свои знамена на стенах столиц соседних государств. Какой же даст она отпор? Чего не свершит она, доведенная до отчаяния, когда ей придется или умереть, или победить?

А потому каждое новое торжество Хмельницкого было для него новой опасностью, так как приближало минуту пробуждения дремлющего льва и делало все более невозможными какие бы то ни было соглашения. В каждой победе таилось будущее бедствие, на дне каждого упоения – горечь. Против казацкой бури разразится гроза Речи Посполитой. Хмельницкому казалось, что он уже слышит ее отдаленные глухие раскаты.

Из Великой Польши, Пруссии, Мазовии, Малой Польши и Литвы придут толпы воинов, им нужен только вождь.

Хмельницкий взял в плен гетманов, но и сквозь эту удачу проглядывала ловушка судьбы. Гетманы были опытными воинами, но ни один из них не был таким человеком, какой требовался в настоящую минуту грозы, ужаса и бедствий.

Вождем их мог быть теперь только один человек. Звали его князь Еремия Вишневецкий.

Именно потому, что гетманы попали в неволю, выбор, вероятнее всего, падал на князя. Хмельницкий не сомневался в этом, как и другие.

А между тем в Корсунь, где запорожский гетман остановился после битвы для отдыха, долетали из Заднепровья вести, что страшный князь уже двинулся из Лубен, что он немилосердно подавляет по пути бунт, что где он пройдет, исчезают деревни, слободы, хутора и местечки, а вместо них возвышаются кровавые колы и виселицы. Страх удваивал и утраивал его силы. Говорили, что он ведет пятнадцать тысяч лучшего войска, какое только могло быть в Речи Посполитой.

Его ожидали в казацком лагере со дня на день. Вскоре после битвы под Крутой Балкой среди казаков раздался крик: «Ерема идет!», приведший в ужас чернь, которая обратилась в бегство. Эта паника заставила Хмельницкого глубоко задуматься.

У него был теперь выбор: или со всеми своими силами двинуться против князя и искать его в Заднепровье, или, оставив часть войска для занятия украинских крепостей, двинуться в глубь Речи Посполитой.

Поход против князя был небезопасен. Имея дело с таким славным вождем, Хмельницкий мог потерпеть поражение в решительной битве, несмотря на все превосходство своих сил, и тогда все поггло бы сразу. Чернь, составлявшая главную часть его войска, доказала, что она бежит при одном имени Еремы. Нужно было время, чтобы превратить ее в войско, могущее устоять против княжеских полков.

С другой стороны, князь, вероятно, не принял бы решительного сражения и ограничился бы обороной крепостей и партизанской войной, которая в таком случае затянулась бы на целые месяцы, если не годы, а Речь Посполитая за это время несомненно собрала бы новые силы и послала бы их на помощь князю.

Хмельницкий решил поэтому оставить Вишневецкого в Заднепровье, организовать новые силы на Украине и усилить свое войско, а потом пойти на Польшу и принудить ее к соглашению. Бунт в Заднепровье он решил поддержать, посылая отдельные полки на помощь черни. Он рассчитывал, что подавление бунта в одном только Заднепровье надолго займет князя, который и оставит его в покое.

Наконец, он предполагал, что ему удастся обмануть князя переговорами и оттягивать их до тех пор, пока силы его не истощатся. Тут Хмельницкий вспомнил о Скшетуском.

Несколько дней спустя после битвы под Крутой Балкой, в самый день паники между чернью, он велел призвать пана Скшетуского к себе.

Он принял его в доме старосты, в присутствии одного только пана Кшечовского, который давно был знаком Скшетускому и ласково, хотя не без надменности, соответствовавшей его теперешнему положению, поздоровался с ним и сказал:

– Пан поручик Скшетуский, за услугу, оказанную мне, я выкупил тебя у Тугай-бея и обещал тебе свободу. Теперь этот час настал. Я дам тебе пернач⁴³ для свободного проезда на случай встречи с войсками или стражей и для защиты от черни. Можешь возвращаться к своему князю.

Скшетуский молчал. Даже подобие радостной улыбки не показалось на его лице.

– Ты можешь уже отправиться в дорогу? Я вижу, ты еще не совсем здоров?

Действительно, пан Скшетуский похож был на тень. Раны и последние события свалили с ног этого богатыря, можно было подумать, что он не доживет до завтра. Лицо его пожелтело, а черная, давно не стриженная борода еще усиливала худобу. Причиной этого были нравственные страдания. Рыцарь терзался ужасно. Следуя за казацким обозом, он был свидетелем всего, что случилось со времени выступления казаков из Сечи. Он видел позор и несчастье Речи Посполитой и гетманов в плену, видел торжество казаков, видел пирамиды, сложенные ими из голов убитых солдат, видел повешенных за ребра шляхтичей, женщин с отрезанными грудями и изнасилованных девушек, видел отчаяние храбрых и подлость трусов, видел все, все вытерпел и страдал тем сильнее, что в голове у него гвоздем засела мысль о том, что прямым виновником всех этих бедствий является он сам; ведь он, а не кто другой, перерезал веревку на шее Хмельницкого. Но мог ли ожидать рыцарь-христианин, что оказанная им помощь ближнему принесет такие плоды? И отчаянию его не было границ.

⁴³ Казацкая полковничья булава, которая среди казаков заменяла пропускные грамоты.

А когда он спрашивал себя, что творится с Еленой, и когда думал, что могло случиться с нею, если злая судьба задержала ее в Розлогах, он протягивал руки к небу и зывал голосом, в котором слышались безграничное отчаяние и почти угроза:

– Боже, прими мою душу, ибо я страдаю больше, чем заслужил!

Потом, заметив, что кощунствует, он падал ниц, моля Бога о спасении и помиловании его отчизны и о жалости к той невинной голубке, которая, может быть, тщетно взывает к Божьей и его помощи. Короче говоря, он так много выстрадал, что его даже не обрадовала дарованная свобода, а этот гетман запорожский, этот триумфатор, желавший быть великодушным и оказать ему свою милость, не производил на него никакого впечатления.

– Торопись воспользоваться моей милостью, пока я не раздумал, ибо только доброта моя и вера в правоту дела делают меня таким неосторожным; я наживаю себе еще одного врага, так как знаю, что ты будешь бороться против меня...

Скшетуский ответил:

– Если Бог даст мне силы!

И так взглянул на Хмельницкого, что тот не мог вынести его взгляда и опустил глаза. Помолчав, он сказал:

– Ну, это неважно! Я слишком силен для того, чтобы для меня что-нибудь значил один юнец. Расскажи князю, своему господину, все, что здесь видел, и посоветуй ему не очень зазнаваться, не то у меня не хватит терпения и я навешу его в Заднепровье, не знаю только, понравится ли ему мое посещение.

Скшетуский молчал.

– Я говорил и повторяю еще раз, – продолжал Хмельницкий, – что веду войну не с Речью Посполитой, а с панами; а князь – первый между ними. Он враг мой и враг народа русского, отщепенец от нашей церкви и злодей! Я слышал, что он кровью заливает мятеж, но пусть он поостережется, как бы не пролилась его собственная.

Говоря это, он волновался все больше, кровь ударила ему в голову, глаза засверкали. Видно было, что им овладевает один из припадков гнева и злобы, во время которых он совершенно терял сознание и память.

– Я велю Кривоносу привести его сюда на веревке! – кричал он. – Брошу его себе под ноги и по его спине буду влезать на коня!

Скшетуский смотрел свысока на разъяренного Хмельницкого и ответил спокойно:

– Победи его сначала!

– Ясновельможный пан гетман! – сказал Кшечовский. – Пусть этот дерзкий шляхтич уезжает; не пристало достоинству твоему разражаться гневом против него, а так как ты обещал ему свободу, то он рассчитывает, что ты или нарушишь данное слово, или будешь выслушивать его дерзости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.